



Петр Сойфер

Сельмая степень ТИШИНЫ

Петр Сойфер

Сельмая степень тишины

«Автор»

2026

Сойфер П.

Сельмая степень тишины / П. Сойфер — «Автор», 2026

Сборник из семи психологических новелл о людях, которых изоляция застала не в пустоте, а в профессии. Океанолог считает течение, которое должно унести его с советского судна. Банковский клерк в Цюрихе хранит чужие ценности и одну собственную, которую уже нельзя вернуть. Пилот батискафа спускается туда, где связь с поверхностью держится на голосе. Программист в Берлине живёт четыреста двенадцать дней, не выходя за дверь. Синхронный переводчик в Женеве слышит чужие слова точнее, чем свои. Астроном на острове Скай продолжает каталог, когда тело уже не держит прежний ритм. Пианист в венской палате держит внутри черепа Гольдберг-вариации — единственное, что ещё слушается. Это книга о достоинстве, которое не произносится вслух, и о тишине, у которой есть степени

© Сойфер П., 2026

© Автор, 2026

Петр Сойфер

Сельмая степень тишины

Седьмой градус широты

Судно называлось «Ольга Садовская», и на нём пахло борщом даже в машинном отделении, даже на замковой палубе, где хранился трос, — этот запах свеклы и лаврушки пробивался через мазут, через ржавую испарину переборок, через всё, чем должен пахнуть теплоход Дальневосточного пароходства на двенадцатые сутки закрытого рейса. Виктор Вальтер сидел в каюте у иллюминатора и слушал гудки машинного отделения — три коротких, один длинный, — и по звуку определял число оборотов винта с точностью, за которую в другой жизни ему бы дали кафедру.

В этой жизни у него была должность старшего научного сотрудника лаборатории гидроакустики и фамилия, которую замполит Кузьмин произносил с особым нажимом на «эр», будто перекачивал во рту камешек. Вальтер. Немецкая фамилия на советском судне в филиппинском море — это было как заусенец на пальце: не мешает работать, но обо всём напоминает, задевая за края.

— Виктор Андреевич, — сказал Кузьмин, войдя без стука, как входил всегда, потому что стук предполагал бы, что у Вальтера может быть что-то, что стоит скрывать, а у советского специалиста скрывать нечего. — Хорошо ли отдыхаете.

— Работаю над отчётом по флуоресценции, — ответил Вальтер, не поднимая головы от бумаг, где были столбики цифр: скорость звука в толще воды, температурные слои, солёность. — *Noctiluca scintillans* цветёт в этих широтах обильнее, чем в справочниках указано.

— Занятно, — сказал Кузьмин и постоял ещё секунду, глядя на разложенные карты течений так, как смотрит человек, который не понимает, что видит, но подозревает, что должен бы. Потом вышел.

Вальтер подождал, пока звук шагов растворится в гуле коридора, и только тогда позволил рукам чуть дрогнуть.

Три года он собирал эти цифры не для отчёта. Скорость течения Куросио на этой параллели — два с половиной узла к северо-востоку в июле, но здесь, у ветви, откалывающейся к югу от главного потока, — совсем другое дело, здесь дрейф ляжет на запад-северо-запад, если попасть в него в правильной точке маршрута, в правильную фазу прилива, в правильный час, когда штурман спит вполглаза, а рулевой смотрит на компас, а не за борт.

Он выучил эти воды так, как другие выучивают Талмуд. Температурные слои, скачок плотности на глубине сорока метров, зоны, где рыба ходит стаями и, значит, ходят акулы, зоны флуоресцентного цветения, которое выдаёт пловца ночью зелёным огненным следом, будто он тащит за собой комету, — и зоны, где вода темна, как чернила, и скрывает.

Отец сидел в лагере под Инту с сорок восьмого по пятьдесят третий и не вышел. Это тоже было цифрой, только другого рода: не скорость течения, а срок, который так и не сошёлся.

Три года подготовки — это были не карты и не цифры, в сущности. Это было медленное, методичное отделение себя от бумаги с гербовой печатью, которая называла его гражданином и специалистом. Отделение шло через ноги: он бегал по палубе на рассвете, когда вахтенные ещё сонные, и наращивал дистанцию, которую тело могло вынести без паники. Через лёгкие: он учился дышать медленно, редко, экономно, как учат подводников. Через кожу: он обливался холодной водой из машинного отделения, приучая мышцы не сжиматься от температурного шока.

И через язык — он молчал больше, чем говорил, оставляя за собой не характер, а функцию: специалист по акустике, вежлив, аккуратен, играет в шахматы с механиком, не пьёт.

Он репетировал даже мимику: улыбку ровно на два деления шире вежливой, не больше, чтобы не выглядеть подозрительно доброжелательным, и ровно настолько, чтобы не выглядеть замкнутым, — вымерял её перед зеркалом бритвенного шкафчика в первые месяцы, потом перестал нуждаться в зеркале, потому что мышцы лица заучили движение так же, как заучивают ноты.

К концу третьего года эта улыбка стала настолько привычной, что он перестал отличать её от собственного лица в состоянии покоя, и это тревожило его один раз, ночью, больше, чем сама подготовка к побегу: не то, что придётся уйти, а то, что уходить, возможно, будет уже нечему, кроме отработанного, добросовестного механизма приветливости.

*

Кабинет был на третьем этаже, окно смотрело в колодец двора, где зимой всегда лежал серый, слежавшийся снег, никогда не белый — таким он не бывал в этом городе дальше суток после снегопада. Лампа на столе следователя горела так, что свет падал только на бумаги и на лицо Виктора, а лицо самого следователя оставалось в полутени, и от этого казалось, что вопросы задаёт не человек, а сама лампа.

— Фамилия, — сказал следователь, не спрашивая, а произнося это слово как заголовок графы, которую нужно заполнить.

— Вальтер. Виктор Андреевич.

— По слогам, — сказал следователь, не поднимая глаз от папки. — Мне для протокола.

Виктору было двадцать один. Он стоял — стула ему не предложили, а сесть без приглашения он не смел, — и слышал, как за дверью, в коридоре, скрипят половицы под шагами матери, которая ждала там с самого утра, с авоськой, в которой лежали два бутерброда с сыром и термос, будто допрос мог затянуться на сутки, а сына нужно было накормить, как школьника после занятий.

— Валь. Тер, — сказал Виктор.

— Немецкая фамилия? — Следователь наконец поднял голову, и свет лампы скользнул по его щеке, обнажив на секунду обычное, усталое, конторское лицо человека, который до обеда допрашивает, а после обеда идёт домой ужинать пельменями. Ничего демонического в этом лице не было — и это было страшнее, чем если бы было.

— Русская, — сказал Виктор. — С восемнадцатого века в Петербурге. Дед — инженер-мостостроитель, приехал по контракту, принял российское подданство при Александре Втором.

— Занятно, — сказал следователь — тем же словом, каким через много лет и в других широтах Кузьмин будет комментировать разговор про *Noctiluca*, — и что-то записал, коротко, три-четыре слова, не больше. — Ваш отец реабилитирован посмертно. Вам должны выдать справку.

— Мне не нужна справка, — сказал Виктор, и голос его дрогнул на середине слова «справка», и он тут же возненавидел себя за эту дрожь, потому что дрожь в голосе была информацией, которую следователь вписал куда-то в свою немую графу, не записывая на бумаге.

— Возьмите справку, — сказал следователь без нажима, без сочувствия, тоном человека, который сообщает о технической процедуре. — Она вам понадобится для анкеты. При устройстве на работу спрашивают о репрессированных родственниках.

Он не спросил, что Виктор чувствует. Он не спросил, простил ли Виктор государство или ненавидит его. Вопросы такого рода не входили в протокол, а то, что не входило в протокол, для этого кабинета не существовало вовсе — и в этом отсутствии вопроса было куда больше холода, чем в любом обвинении.

В коридоре мать поднялась навстречу, всё ещё держа авоську двумя руками, будто боялась, что бутерброды выпадут, и спросила только одно:

— Что сказали?

— Дадут справку, — ответил Виктор.

Мать кивнула, как кивают на непонятную, но, видимо, приемлемую цену за что-то. Она не спросила, зачем справка, чем она поможет, вернёт ли она отца — потому что знала ответ на все три вопроса и предпочитала не произносить его вслух в коридоре учреждения, где стены, как всем было известно, тоже вели протокол.

Вышли на улицу вместе. Снег лежал грязными валиками вдоль тротуара, и мать шла быстро, не оглядываясь, сжав авоську в кулак. Горячий термос внутри авоськи так и остался неоткрытым — открыть его на улице, выпить чай стоя на тротуаре в городе, где только час назад спрашивали фамилию по слогам, казалось бы предательством по отношению к самому воздуху этого утра.

Дома дошли молча, и только в подъезде, снимая галоши, мать сказала, не глядя на него:

— Справку получишь — в папку к паспорту положи. Не на стол, не на виду.

— Почему не на виду, — спросил Виктор, хотя знал ответ ещё до того, как сам задал вопрос.

— Фотография бы вот, та на виду, — сказала мать. — Рядом с будильником. Отец с номером на ватнике, а на фотографии видно только лицо. Справка — это просто бумага, в ней могут вчитаться так, как читает следователь.

Справку выдали через месяц. Виктор хранил её в отдельной папке, вместе с фотографией отца, которую вернули матери вместе с личными вещами из лагеря: отец в ватнике с номером на спине, лицо серое, губы сжаты, глаза смотрят не в объектив, а мимо, куда-то за плечо фотографа, будто там, за плечом, было что-то важнее объектива.

Мать поставила эту фотографию на комод рядом с будильником, и Виктор видел её каждое утро, одеваясь в холодной ленинградской комнате, — и однажды, много позже, уже не мальчиком, а взрослым человеком с дипломом и должностью, поймал себя на том, что фотография всплывает перед ним не в комнате матери, а в тесной каюте теплохода «Ольга Садовская», среди карт течений и пробирок с фиксирующим раствором, будто снимок проделал вслед за ним весь путь от Ленинграда до филиппинского моря, хотя сам снимок остался в квартире матери, в верхнем ящике комода, среди облигаций займа и старых квитанций.

Он закрывал глаза — тогда, в каюте, — и видел ватник, номер, сжатые губы, взгляд мимо объектива, и не мог понять, воспоминание это или что-то, что тело хранит помимо памяти, как хранит шрам без объяснения, откуда он.

*

Кают-компания в обед пахла тем же борщом, но гуще, влажнее, потому что пар от кастрюль конденсировался на низком потолке и капал обратно в тарелки редкими солёными каплями, будто небо тоже решило поучаствовать в приготовлении.

За длинным столом сидели по старшинству — старпом на торце, ближе к иллюминатору, механик Семёнов напротив него, широкий, с руками, вечно пахнущими соляжкой даже после мытья, и матросы дальше, теснее, локоть к локтю.

— Виктор Андреевич, — сказал Семёнов, макая хлеб в подливу, — вечером партию сыграем? Я тебе прошлый раз коня зря отдал, хочу отыгаться.

— Сыграем, — сказал Вальтер.

— Наш немец думает на три хода вперёд, — сказал кто-то из матросов, молодой, конопатый, не со зла, а просто потому, что фраза была готовым инструментом, лежащим под рукой, как гаечный ключ нужного размера, — а мы всё больше по-русски, авось да как-нибудь.

Смех прошёл по столу коротко, необидно, привычно — Вальтер слышал эту шутку в разных вариациях не первый месяц и научился не вздрагивать, научился встречать её так, как встречают дождь, о котором предупредили заранее.

— Немец думает на три хода, — сказал Вальтер, зачерпывая борщ ложкой ровно, без спешки, — русский на два, но зато сразу оба. Экономия времени.

Он сказал это спокойно, без улыбки, тоном справочной информации, и матрос заржал первым, оценив не остроту, а именно ровность голоса, с которой она была произнесена, — потому что смех вышел бы другим, если бы Вальтер защищался или, наоборот, обиделся.

Старпом хмыкнул в усы. Механик Семёнов подмигнул:

— Вот за это я тебя и зову на шахматы, Виктор Андреевич. С тобой хоть разговаривать интересно, не как со стенкой.

Вальтер кивнул, доедая борщ, и не дал лицу ничего сверх этого кивка.

После обеда он вымыл ложку и кружку сам, хотя дежурный по камбузу предлагал забрать посуду, — привычка, воспитанная тем же трёхлетним методом: не оставлять за собой ничего, что мог бы сделать кто-то другой и тем самым запомнить его чуть подробнее, чем нужно.

*

Вечером в кают-компании доска для шахмат уже стояла раскрытой на угловом столике, привинченном к полу, — привинчен был и столик, и сама доска имела по краю бортик, чтобы фигуры не съезжали при качке, деталь, которую Вальтер про себя всякий раз отмечал с тихим уважением: кто-то подумал наперёд о море, когда вытаскивал эту деревяшку.

— Ты мне коня не отдашь сегодня, — сказал Семёнов, расставляя чёрные, — я две ночи думал, где ошибся.

— Ты отдал коня, потому что торопился съесть пешку, — сказал Вальтер, ставя белых. — Жадность у доски дороже, чем жадность у стола.

— Ты как замполит говоришь, — хохотнул Семёнов, — афоризмами.

— Замполит говорит лозунгами. Это разные профессии.

Семёнов засмеялся уже в полный голос, кто-то из свободных от вахты, проходя мимо, притормозил, чтобы взглянуть на доску, — и Вальтер двинул пешку, чувствуя под пальцами гладкое, отшлифованное множество партий дерево фигуры, тепло чужих рук, впитанное в дерево за годы, и думал не о позиции, а о дереве под пальцами — тёплом, чужом, впитавшем чужие руки.

Семёнов сделал ход, не подумав, и тут же охнул, увидев потерю.

— Вот я балда.

— Тебе просто не хватает терпения, — сказал Вальтер, забирая фигуру.

— Ты сегодня злой, — сказал Семёнов, но без обиды, разглядывая доску так, будто она была виновата сама.

Семёнов и Вальтер доиграли партию в тишине, нарушаемой только скрипом переборки и далёким стуком посуды на камбузе, и когда Семёнов сдался, пожав плечами, — не расстроено, привычно, — он спросил, разминая пальцы:

— А ты чего сюда пошёл, Виктор Андреевич. В моря. С твоей головой в Ленинграде бы сидел, в кабинете, книжки писал.

— В кабинете платят меньше, — сказал Вальтер, убирая фигуры в деревянную коробку, слушая, как они стучаются друг о друга сухим костяным звуком. — И вид из окна хуже.

— Вид, — усмехнулся Семёнов, глядя в иллюминатор, за которым была уже сплошная чёрная вода без горизонта. — Тоже верно.

*

Радиорубка была тесным отсеком у самого мостика, с дверью, на которой висела эмалированная табличка «Посторонним вход запрещён», настолько облупленная по краям, что слово «запрещён» читалось только по памяти, а не по буквам.

Радист Гриша, парень лет двадцати пяти с вечно воспалёнными от табака глазами, выходил курить на трап рядом с рубкой, потому что внутри курить запрещал сам передатчик — то ли легенда, то ли правда о пожарной безопасности аппаратуры.

— На берег связь только через Москву идёт, — сказал он однажды Вальтеру, не спрашивая, зачем тот вообще остановился рядом, — раз в сутки сеанс, всё шифровано, всё через оператора. Личных телеграмм не принимаем, если ты об этом.

— Я не об этом, — сказал Вальтер.

— Ну и правильно, — сказал Гриша, выпуская дым в сторону, туда, где ветер сразу разрывал его в клочья, — а то некоторые спрашивают, думают, я им тут частную линию устрою. Аппаратура казённая, канал казённый, слово моё казённое.

Вальтер не спрашивал ничего и дальше — стоял, прислонившись к переборке, глядя, как волны расходятся от борта равномерными, почти геометрически правильными усами, и слушал через тонкий металл переборки гудение передатчика внутри, ровное, на одной ноте, похожее на зуммер зубного кабинета, — гудение, которое, он знал, несло в себе координаты судна, доклады о состоянии груза, метеосводки, всё то, что делало «Ольгу Садовскую» видимой точкой на карте паромства, привязанной к берегу невидимой нитью радиоволн.

Он думал о том, что эта нить рвётся только в одном случае — если сам передатчик выйдет из строя, — и что человек, ушедший за борт, для этой нити не существует вовсе, потому что нить связывает судно с берегом, а не человека с судном. Пропасть за бортом означало пропасть не из эфира, а из списка личного состава, что было куда проще и куда незаметнее.

— Что смотришь на дверь, как на икону, — сказал Гриша, щурясь от дыма.

— Слушаю, как работает, — сказал Вальтер. — Профессиональный интерес. У меня приборы тоже гудят, только на других частотах.

— А, гидроакустика, — сказал Гриша с уважением, которое звучало скорее как вежливость к непонятному, чем как понимание, — ты рыбу слушаешь.

— И не только рыбу, — сказал Вальтер, и это было чистой правдой, не требовавшей никакой лжи, — самая честная фраза, которую он произнёс за весь день, и потому самая безопасная.

Он ушёл раньше, чем Гриша докурил, чтобы не задерживаться у этой двери дольше, чем позволяла легенда профессионального интереса, — но, спускаясь по трапу, поймал себя на желании вернуться и попросить одно: пусть кто-то там, в Москве, на другом конце шифрованного канала, узнает, что он жив, хотя бы не сразу, хотя бы много лет спустя, хотя бы одной строкой в никому не нужной сводке. Желание было слабым, почти детским, и он задавил его тем же движением, каким давил слюну сухого кашля, — коротко, без сентиментальности, потому что сентиментальность на этом этапе стоила дороже, чем он мог себе позволить.

*

Каптерщик Лёва заведовал складом и той особой, почти дипломатической сетью мелких услуг, которая существует на любом судне независимо от устава: кто кому нёс лишнюю банку сгущёнки, кто у кого одалживал сигареты до следующего порта, кто держал под замком заветную бутылку для случаев, которые сам же и назначал особыми.

— Виктор Андреевич, — сказал он, заглянув в лабораторный отсек, где Вальтер разбирал пробы планктона под слабой лампой, — у тебя ж там спирт для фиксации, для этих твоих... — он покрутил пальцами в воздухе, не подбирая слова.

— Для проб, — сказал Вальтер, не отрываясь от пробирок.

— Ну вот. А у меня лишней банки компота на всех не хватает, зато если ты мне пробирочку спиртику отольёшь, по-дружески, я тебе с продсклада что хочешь организую. Сгущёнку, тушёнку сверх нормы, да хоть шоколад индийский, у нас с прошлого рейса заначка.

— Спирт для фиксации проб рассчитан по весу образца, — сказал Вальтер, поднимая глаза ровно настолько, чтобы каптерщик увидел в них не осуждение, а именно то, что должно было там быть: сухую констатацию невозможности. — Если я отолью, отчёт не сойдётся с числом проб. Это не моя жадность, Лёва, это бухгалтерия реактива. Спишут — спросят.

— Да кто там сверяет, — сказал каптерщик, но без напора, скорее по привычке настаивать до первого твёрдого отказа.

— Замполит спросит, — сказал Вальтер спокойно. — Ему нравится спрашивать.

Каптерщик хмыкнул, поняв шутку правильно — как намёк на общую для обоих неприязнь, — и вышел, ничего не сказав больше, но взгляд, которым он окинул отсек перед уходом, задержался на шкафчике с реактивами на секунду дольше, чем требовала простая вежливость расставания. Вальтер заметил это боковым зрением и сделал в уме короткую, холодную пометку: Лёва запомнит отказ. Не как обиду — как факт. Люди, которые торгуют мелкими одолжениями, хранят в памяти каждый случай, когда одолжение не состоялось, дольше, чем случаи, когда оно состоялось, потому что несостоявшийся обмен раздражает бухгалтерский инстинкт куда сильнее, чем состоявшийся радует.

Он подумал об этом не с тревогой, а с той же профессиональной сухостью, с которой фиксировал температуру пробы: данность, которую нужно учитывать в расчётах, не более. Лишний свидетель, лишняя пара глаз, которая может — не обязательно, но может — вспомнить позже, при опросе, что учёный не делился спиртом, что учёный был отдельно от общей ткани мелких взаимных долгов, из которых на судне сплетается всё: доверие, подозрение, алиби.

*

Ночью, когда каюта погружалась в ту особую плотную темноту, которая бывает только в металлическом корпусе, отгороженном от звёзд переборками и заклёпками, Вальтер зажигал настольную лампу, прикрывал её ладонью от щели под дверью и раскладывал карты течений — те же самые, что днём лежали на столе для отчёта, но ночью на них появлялись пометки, которых не было днём.

Карандаш он держал остро заточенным с одной стороны, чтобы линия получалась тонкой, почти незаметной среди печатных изобат и отметок глубин, — черта вдоль ветви течения, отходящей к югу от главного потока Куроисио, с едва уловимым нажимом там, где, по его расчётам, дрейф должен был лечь на запад-северо-запад.

Он делал пометку, смотрел на неё секунду, потом стирал ластиком — обычным, канцелярским, серым, который оставлял на бумаге не белизну, а серую взвесь, — и делал ту же пометку заново, чуть иначе, будто уточняя черновик, который никогда не будет переписан в чистовик.

Он знал: если Кузьмин когда-нибудь возьмёт эту карту в руки — а замполит любил брать в руки чужие бумаги, не потому что понимал их, а потому что власть требовала жеста прикосновения к документу, — эта пометка прочтётся неправильно. Прочтётся как разметка зоны цветения планктона, как заметка гидроакустика про слой скачка плотности, потому что именно этой легендой Вальтер обклеил каждый сантиметр своей ночной работы: правда, положенная под ложь так плотно, что ложь становилась неотличима от правды даже для него самого в те минуты, когда он забывал, ради чего чертит эти линии.

Он стирал пометку до конца перед тем, как лечь спать, оставляя карту чистой, официальной, готовой к любой проверке, — а число, направление, час запоминал не на бумаге, а в теле, в том же месте, где хранил число оборотов винта, определяемое по звуку.

Иногда, прежде чем стереть линию, он подолгу держал карандаш над бумагой, не двигая рукой, — не потому что забыл движение, а потому что в этой паузе была последняя, единственная роскошь, которую он мог себе позволить: минута, когда решение ещё не оформлено в действие, когда можно вообразить, что завтра он проснётся другим человеком, тем, что не собирает координаты собственного исчезновения по ночам при свете, прикрытом ладонью. Пауза кончалась. Рука опускалась, дочерчивала линию, потом стирала её.

*

Работа с планктоном была настоящей — это было первое, чему он научился за три года подготовки: маска держится крепче, если под ней настоящее лицо, а не гипс.

Он спускал сетку для планктона за борт на рассвете, когда судно шло тихим ходом, и вытягивал её через двадцать минут, чувствуя, как трос натягивается неравномерно, будто что-то живое сопротивляется подъёму, хотя сопротивлялась просто вода, просто масса воды, тянувшая мелкоячеистую ткань обратно в свою толщу.

Пробы он переносил в пробирки аккуратно, пипеткой, следя, чтобы температура фиксирующего раствора не превышала указанную в методике на градус, потому что перегретый раствор разрушал структуру клеток, и данные становились непригодны, — и это было ему важно не только как алиби, но и само по себе, отдельно, как вопрос профессиональной чести человека, который умел делать одно дело хорошо и не позволял себе делать его плохо, даже когда дело было прикрытием для другого, куда более рискованного дела.

Он писал отчёт по флуоресценции медленно, вычерчивая графики цветения *Noctiluca* по широтам, сверяя цифры с прошлыми экспедициями, находя реальные, не придуманные несоответствия справочным данным, — и в тот вечер, когда Кузьмин заглянул в каюту и спросил, хорошо ли отдыхается, Вальтер ответил чистую правду о цветении планктона, потому что ложь ему в этот момент вовсе не требовалась: правда была достаточным щитом.

*

Рассвет он встречал на палубе почти каждый день, когда вахтенные ещё не до конца проснулись и смотрели на бегущего человека с той расплывчатой снисходительностью, с которой смотрят на чудака, не понимая, что чудачество измерено с точностью до шага.

Он не считал километры — километры были абстракцией, которая ничего не говорила телу. Он считал шаги, партиями по сто, загибая пальцы одной руки, потом другой, потом начиная заново, потому что шаг был единицей, которую нога помнила, а нога должна была помнить, сколько ей предстоит выдержать в воде без остановки, без берега под ступнёй.

Мокрая палуба под ногами в это время суток была скользкой от росы и вчерашних брызг, и он ставил стопу так, как учил себя ставить её вслепую: не плоско, а с перекатом, экономя удар в колене, — тело готовилось не к спорту, а к работе, которую спортом никто бы не назвал.

Вахтенный матрос, обычно один и тот же, невысокий, с вечно сонным, обиженным на раннюю смену лицом, стоял у трапа на мостик и следил за бегущим скорее по обязанности, чем по интересу, изредка поглядывая на часы, будто засекая, не нарушает ли учёный какой-то неписанный распорядок.

— Вы каждый день, Виктор Андреевич, — сказал он однажды, не то с вопросом, не то с констатацией.

— Здоровье беречь надо, — ответил Вальтер, не сбавляя шага, и вахтенный кивнул, будто фраза закрывала вопрос.

После бега он спускался в машинное отделение, к крану, из которого механики брали техническую воду для охлаждения, — вода там была ледяной, только что поднятой из недр судового трубопровода, где она соприкасалась с внешним бортом, впитывая температуру океана, — и лил её себе на загривок, на плечи, на грудь, стоя обнажённым по пояс среди гула машин, среди запаха солянки, который перекрывал даже вездесущий борщ.

Первый раз тело отозвалось судорогой — плечи взлетели к ушам, дыхание перехватило коротким, неконтролируемым спазмом, и он устоял на ногах только потому, что заранее знал: реакция будет такой, знание было щитом против неожиданности.

Он повторял это утро за утром, партия за партией, ведро за ведром, наблюдая, как спазм становится короче, как плечи всё меньше взлетают к ушам, как дыхание перехватывает всё слабее, — училась не воля, училась именно кожа, тот слой на теле, что решает быстрее мозга, стоит ли паниковать от холода, и он методично, ведро за ведром, переучивал этот слой на новое, более пригодное для океана поведение.

Механик Семёнов застал его за этим занятием однажды и не удивился, а только заметил, вытирая руки ветошью:

— Закаляешься, Виктор Андреевич. Правильно. Моряку без этого никак.

— Никак, — согласился Вальтер, чувствуя, как холодная вода стекает по позвоночнику вниз, за ремень штанов, и как тело — уже почти без сопротивления — принимает этот холод как рутину, а не как удар.

Он вытирался жёстким вафельным полотенцем, которое сам приносил из каюты, чтобы не одалживать судовое, и разглядывал в такие минуты собственные руки — уже не те, что три года назад держали указку у доски в лаборатории, а другие, потемневшие от солнца на палубе, с новыми, твёрдыми мозолями на ладонях от бега и от троса сетки для планктона, — и думал, без всякой рефлексии, чисто физиологически, что тело меняется быстрее документа: паспорт по-прежнему называл его старшим научным сотрудником, а ладони уже принадлежали кому-то, кто готовился грести.

*

Шторм не пришёл сразу седьмой категорией — он подступал часами, и каждый час добавлял в общую картину деталь, которая по отдельности выглядела бы бытовой мелочью, а вместе складывалась в тяжесть, придавившую всё судно к горизонту, будто небо садилось на мачты.

Барометр в штурманской рубке старпом проверял каждые полчаса с самого утра, сначала небрежно, потом всё чаще, и к обеду его лицо утратило привычное сонное благополучие человека, знающего маршрут наизусть, — он присвистнул вслух, забыв на секунду о должности, которая предписывала невозмутимость, и этот присвист, короткий, мальчишеский, разошёлся по судну быстрее любого объявления по трансляции.

К четырём часам дня небо на юго-востоке из белёсого стало наливаться той особой зеленовато-серой тяжестью, какая бывает у синяка на третьи сутки, — и ветер, до того ровный, устойчивый, попутный, начал рвано менять направление, налетая порывами, которые сбивали дыхание тому, кто выходил на открытую палубу.

К шести часам судовая библиотека — то есть шкафчик с книгами, выдаваемыми матросам на час досуга, — сорвалась с креплений и рассыпалась по полу коридора веером корешков, и вахтенный помощник, собирая их на карточках, пробормотал, что один том так и не нашёлся, и эта мелочная потеря расстроила его сильнее, чем всё остальное, что творилось вокруг за ближайшие часы.

В камбузе к пяти часам с плиты слетела кастрюля с недоваренной кашей — судно качнуло резче обычного, и посуда, не закреплённая заранее, потому что качка ещё не считалась штормовой, разбилась звонко, каша расплзлась по палубе жёлтым пятном, и кто-то из мотористов, забежавший на минуту погреться чаем, выругался и первым бросился крепить всё, что можно было крепить: кастрюли, вёдра, ящики с крупой.

К шести объявили штормовое предупреждение по трансляции, голос вахтенного помощника был нарочито спокоен, слишком спокоен, с той дрожью в интонации, которую пытаются подавить, но которая всё равно просачивается на стыках слов.

К семи вечера один из матросов, крепивший груз на палубе, поймал бортом сорвавшийся канат — рассекло бровь, кровь текла обильно, смешиваясь с брызгами, заливая глаз, и фельдшер, единственный на судне, накладывал шов прямо в лазарете под качающейся лампой, ругаясь, что нитка выскальзывает из пальцев при каждом крене.

Вальтер видел эту сцену мельком, проходя мимо лазарета за полотенцем, — матрос сидел на кушетке, зажимая бровь ладонью, сквозь пальцы сочилась кровь, фельдшер держал иглу на весу, ожидая паузы между качками, чтобы сделать стежок, — и Вальтер отметил про себя, вычислительно, безучастно: рассечённая бровь — это неопасно, но это симптом того, что судно уже не владеет собой полностью, что штормовая работа стала опаснее спокойной.

Матрос — тот самый, конопатый, что шутил в кают-компании про немца, думающего на три хода вперёд, — перехватил взгляд Вальтера здоровым глазом и попытался улыбнуться сквозь боль, вымученно, по-мальчишески, будто извиняясь за то, что доставил зрелище: —

Ерунда, Виктор Андреевич, до Владивостока заживёт. — Вальтер кивнул и пошёл дальше за полотенцем, чувствуя, как этот короткий обмен репликами — необязательный, тёплый, ничего не значащий — тяжелее, чем ему хотелось бы, ложится куда-то под ребро, туда же, куда ложилась мысль об отце.

К половине одиннадцатого качка стала такой, что ходить по коридору можно было только держась за оба леера сразу, переставляя руки быстрее ног, и кто-то из свободных матросов, пробегая мимо каюты Вальтера, ударился плечом о косяк с глухим, костяным звуком и даже не замедлился, зажимая ушиб на бегу.

К одиннадцати вечера погас основной свет в коридорах и зажёгся аварийный, тускло-жёлтый, отчего лица людей стали похожи на печёные яблоки — щёки ввалились в этом свете, глаза утонули в тени, кожа приобрела тот землистый оттенок, что бывает у людей, давно не спавших и знающих, что спать сегодня не придётся.

Тропический циклон, седьмая категория, шёл слишком близко к их курсу, слишком быстро набравший силу для прогнозов, которые получали по закрытому каналу с большим запозданием, — Вальтер слышал это словосочетание, «седьмая категория», произнесённое старпомом вполголоса вахтенному помощнику у трапа, и запомнил его так, как запоминал числа: не как страх, а как параметр.

Судно повело боком, потом накренило, потом выровняло, потом снова повело.

Вальтер стоял у себя в каюте, держась за край койки, и чувствовал, как палуба уходит из-под ног не метафорически, а буквально, с тем ускорением, которое можно было бы вычислить, если бы было чем вычислять и зачем.

Он вычислял другое.

Крен судна восемнадцать-двадцать градусов при таком волнении означал, что вода у планшира на подветренном борту иногда доходила почти до уровня палубы средней надстройки — там, где хранился спасательный трос и куда вахтенных матросов посылали реже всего, потому что там их сильнее всего мочило и трепало, а толку было немного.

Восемнадцать метров — это высота падения с той палубы в воду при среднем крене. Он произвёл это вычисление ещё три недели назад, сидя над картой, не подозревая, что шторм подарит ему точный момент, когда высота, скорость волны, темнота и хаос совпадут так, что человека, упавшего — или ушедшего — за борт, никто не увидит и не услышит за ревом ветра.

*

Он не собирался ждать шторма. Шторм был подарком, который он не заказывал и в существование которого не смел до конца поверить, пока не стоял на трапе, вцепившись в леер, чувствуя, как ветер рвёт с него штормовку, а низкое небо освещается изнутри дальними разрядами, будто кто-то там, наверху, зажигает и гасит спичку.

Металл леера был не просто мокрым — он был обжигающе холодным той особой солёной сыростью, что впитывается в кожу ладони мгновенно, стягивая её, и Вальтер чувствовал каждый заклёпочный шов под пальцами, каждую шероховатость краски, облупившейся от многолетней службы в тропиках, будто пальцы его превратились в отдельный, самостоятельный орган зрения, читающий поверхность металла вместо глаз, которые всё равно ничего не видели дальше вытянутой руки в этой мокрой темноте.

Тело не хотело. Тело у него было немолодое, сорок один год, поясница ноющая от кресла с картами, и оно вдруг взбунтовалось прямо на трапе — его вырвало борщом за борт, коротко и стыдно, и он вытер рот тыльной стороной ладони, ощущая соль на губах — свою, не морскую ещё.

Колени были ватные. Он их не чувствовал как опору, только как две точки слабости в теле, которое должно было сейчас держать вес всей его жизни.

Дождь, начавшийся, кажется, ещё три часа назад, а может, и никогда не начинавшийся отдельно от брызг, лупил по штормовке с той частотой, что тело перестало отличать капли друг

от друга, воспринимая их одним сплошным, непрекращающимся давлением, — и под этим давлением он вдруг с абсурдной ясностью вспомнил, как в детстве стоял под таким же ливнем во дворе на Петроградской стороне, ожидая, что мать позовёт домой, и она позвала, и он тогда обиделся, что его позвали слишком быстро, а теперь звать было некому, и от этой мысли по спине прошла отдельная, самостоятельная от холода дрожь.

Слюна во рту стала густой, вязкой, с привкусом желчи и того же борща, и он сглатывал её через каждые несколько секунд, не потому что хотел, а потому что горло само сжималось в этом рефлекторном, тошнотном ритме, который тело выбирает, когда готовится к чему-то, для чего не создано природой.

Где-то за спиной, в темноте машинного отсека, хлопала не закреплённая дверь — гулкий, железный удар через равные, но непредсказуемые интервалы, будто кто-то методично, с ленивой настойчивостью, стучал в его позвоночник, отсчитывая секунды, которых у него осталось не так уж много до появления вахтенного с фонарём.

Он посчитал до трёх.

Досчитал.

Не прыгнул.

Стоял, вцепившись в мокрый металл, слушая, как где-то за спиной хлопает не закреплённая дверь машинного отсека, и знал, что через минуту пройдёт вахтенный с фонарём, и вся конструкция трёх лет обвалится в одну секунду недоразумения: «Товарищ Вальтер, что вы здесь делаете».

Он уже слышал эту фразу — не ушами, а тем внутренним слухом, который прокручивает наперёд самые страшные реплики, — слышал именно так, с этим канцелярским «товарищ» впереди фамилии, с той вежливо-подозрительной интонацией, с которой вахтенный обязан обратиться к любому человеку, найденному на открытой палубе во время седьмой категории шторма там, где категорически запрещено находиться без прямого приказа.

Он представил, как эта фраза потащит за собой всё остальное: рапорт, вызов к капитану, вопрос Кузьмина, произнесённый с тем же нажимом на «эр», — «а что, собственно, любезный Виктор Андреевич, вы делали ночью на аварийном трапе во время шторма седьмой категории», — и как этот вопрос, невинный по форме, окажется единственным вопросом, на который у него не найдётся честного ответа, потому что честный ответ звучал бы: я готовился спрыгнуть.

Колени дрожали уже не от холода, а от чистого, неразбавленного ужаса — не перед океаном, океан был абстракцией, о которой он думал вычислениями, а перед этой конкретной, узкой возможностью быть застигнутым за метр от края, за секунду от разряда, которого он ждал три года.

Он посчитал снова. Раз. Два.

На счёт «два» палец правой руки, обхватывающий леер, сам, помимо воли, чуть разжался — не решение, а какая-то предварительная репетиция тела, короткая проба того, каково это будет, отпустить металл, — и он тотчас сжал палец обратно, зло, судорожно, будто ловил ускользающую вещь.

Слюна снова наполнила рот, и он сглотнул её, чувствуя привкус желчи и соли и — где-то на самом дне вкуса — странную, отдельную от страха сладость, ту самую, что бывает перед прыжком в холодную воду с высокого берега, знакомую с детства, с ленинградских каналов, куда мальчишки прыгали летом, зажимая нос, и эта телесная память детства всплыла на секунду посреди шторма и тут же исчезла, смытая новым порывом ветра.

На «три» тело само оторвалось от леера — не решение, а разряд, снятие запруды, — и он полетел вниз в темноту, которая пахла озоном и солью, и в зверином ужасе падения не думал ни о родине, ни об отце, ни о свободе — вообще ни о чём человеческом, только гортанный вопль внутри, зажатый зубами, чтобы не выпустить его наружу, и удар о воду был как удар о бетон, всей плоскостью тела, всей его сорокаоднолетней массой.

Вода приняла его тяжело и равнодушно, как принимает пьяного тротуар.

Первые секунды были чистой болью — в груди, в скуле, ударившейся о собственное плечо от рывка, в позвоночнике, стянутом судорогой. Потом волна накрыла его с головой, и он глотнул солёной воды вместо воздуха, и запаниковал, задёргал руками и ногами без всякой системы, всплывая, теряя направление, ощущая давление в ушах, которое он умел вычислять в кабинете, а сейчас оно просто разрывало барабанные перепонки, как двусторонняя пощёчина.

Соль обожгла гортань изнутри, и он закашлялся под водой, что было хуже, чем не дышать вовсе, — тело хотело вдохнуть на кашле, требовало воздуха именно там, где воздуха не было, и на секунду, на две, на три ему показалось, что вот, собственно, и всё, что три года подготовки закончились нелепой ошибкой глотки, не выдержавшей простейшего различения между «вдох» и «не вдох».

Потом сработал навык. Не воля — воля в этот момент была не крупнее ногтя, — а именно навык, вбитый в мышцы теми утренними обливаниями из машинного отделения, той дисциплиной дыхания, которую он вымучивал год, лежа на койке и считая: вдох на четыре счёта, задержка на два, выдох на шесть. Тело вспомнило раньше, чем вспомнил он: перестало дёргаться, сгруппировалось, ушло чуть глубже, чтобы не хлебать пену с гребня, и вынырнуло уже иначе — расчётливо, боком к волне, ртом над самой поверхностью, как учили когда-то на военной кафедре, где никто не думал, что пригодится.

Он вынырнул. Хлебнул воздуха вперемешку с брызгами. Хлебнул снова, уже спокойнее, и заставил себя не глотать судорожно, а дышать в четыре счёта, как на суше, — считая про себя, вслух не получалось, горло было полно соли и того особого ужаса, что не имеет звука.

Огни «Ольги Садовской» уже были далеко и мельчали — судно продолжало идти своим курсом, накрённое, ревущее машинами, — но мельчали не сразу, не одним взглядом, как ему бы хотелось для завершённости, а долго, унижительно долго: сперва он ещё различал два ряда иллюминаторов, потом только верхний, потом смутное жёлтое пятно там, где должен быть капитанский мостик, потом просто зарево, размытое дождём и брызгами, потом ничего, кроме темноты и звука, который упрямо держался в ушах ещё какое-то время после того, как исчез из мира, — гул машин, вбитый в барабанные перепонки за пятнадцать суток плавания, продолжал звучать внутри черепа, будто судно уходило не по морю, а по нему самому, изнутри.

Он смотрел на это зарево и ждал, что почувствует что-то соразмерное происходящему — ужас, восторг, хоть что-нибудь, — но чувствовал только холодную, отстранённую ясность чело- века, который наконец видит собственную смерть с безопасного расстояния теории. Зарево стало точкой. Точка стала памятью о точке. Он остался один посреди воды, которая была больше него, — больше кабинета, больше замполита, больше отца.

Он вычислял. Держась на воде, задыхаясь, тратя силы, которые следовало бы экономить, он всё же вычислял, потому что вычисление было единственным, что отделяло его от животного ужаса, — единственной оставшейся структурой в мире, где не было ничего структурного: температура воды около двадцати восьми градусов, значит, переохлаждение не главная угроза в первые сутки; дрейф, если он верно определил ветвь течения, должен нести его на запад-северо-запад со скоростью около одного узла; ближайшая группа рифов, судя по картам, которые он выучил наизусть, лежала в семидесяти — восьмидесяти милях, то есть в трёх, может быть, четырёх днях дрейфа при удачном течении, при отсутствии встречного ветра, при отсутствии множества вещей, которые он не мог контролировать и о которых старался не думать в терминах вероятности, потому что вероятность была унижительно мала.

Он снял ботинки — сначала один, с трудом, под водой, борясь с намокшей шнуровкой, чувствуя, как леска врежется в пальцы, потом второй, — и дал им уйти на дно, куда-то в те самые сорок метров, где начинается скачок плотности, о котором он писал в отчётах. Ботинки уходили медленно, покачиваясь, будто раздумывая, и он проследил взглядом за вторым, пока

тот не растворился в темноте, и подумал с той же клинической отдалённостью: вот и вся моя обувь на этой земле, — хотя земли под ним не было никакой, только толща.

Штормовку он оставил. Она держала немного тепла и немного воздуха в складках, работала как несовершенный, ненадёжный, но всё же плавучий кокон, — он поджал в неё колени, прижал локти к бокам, и почувствовал, как ткань, отяжелевшая от воды, всё же держит какой-то пузырь под лопатками, какую-то полость, которая делала его на волос легче, чем он был бы голым. Это было немного, но три года подготовки научили его ценить немного — потому что немногое, накопленное методично, единственное, что и составляло всю его надежду.

Ночь тянулась медленно, с той медлительностью, которая бывает только у боли и у ожидания. Волны шторма постепенно спадали — циклон уходил севернее, задевая его лишь краем, — но зыбь оставалась крупная, и его вздымало и опускало, вздымало и опускало, как поплавок, забытый рыбаком. Каждый подъём на гребень давал секунду обзора — чёрная вода, чёрное небо, ни огня, — и каждый спуск в подошву волны отнимал этот обзор и заменял его глухим шумом воды, которая на секунду смыкалась выше уровня глаз, будто хотела напомнить, кто здесь распоряжается высотой.

К рассвету он заметил, что вода вокруг его рук, когда он шевелил ими, вспыхивает бледно-зелёным холодным огнём — *Noctiluca*, планктонное цветение, которое он изучал по пробам, взятым специальной сеткой с борта, аккуратно фиксировал в пробирках при определённой температуре. Сейчас это же самое свечение окружало его тело, как нимб, и была в этом злая, отдельная от всякой поэзии ирония: наука, которая была его алиби, его легендой, его официальным лицом на борту, теперь буквально светилась вокруг его настоящего, незащитного тела, точно подписывая его местоположение для всякого, кто посмотрел бы сверху.

Он засмеялся. Смех вышел хриплым, лишённым звука почти, — горло уже сушила соль, — но именно безголосость этого смеха показалась ему самой честной реакцией, какая у него осталась: смеяться так, чтобы никто, даже сам смеющийся, не мог услышать, что это смех, а не всхлип.

*

Первая ночь на воде не кончилась рассветом — она просто перестала быть чёрной и стала серой, и это медленное обесцвечивание он наблюдал с той же дисциплинированной внимательностью, с какой раньше наблюдал за приборами. Звёзды, пока они ещё держались над горизонтом, были ясны, крупны, немного смазаны от солёной пелены на ресницах, и он знал многие из них по именам — знал их так же профессионально, как знал слои солёности, потому что штурманская подготовка когда-то входила в общий курс, и он, сдавая экзамен по навигации на кафедре, получил тогда высший балл за умение находить широту по высоте звезды над горизонтом без секстанта, на глаз, приблизительно, но точнее, чем большинство однокурсников.

Он мог бы назвать их. Вега, южнее — что-то из созвездия, названия которого он подзабыл именно потому, что оно относилось к южному небу, редкому гостю в его северных таблицах. Он начал было: «Это...» — и остановился. Звёзды остались светом, без подписей.

Крупная зыбь несла его размеренными, тяжёлыми волнами, каждая — метра в два, может, три, но без злобы шторма, без ветра, рвущего гребни в пену, просто вода, вспоминающая недавнее буйство усталым, замедленным движением. Он приноровился к её ритму: на подъёме — вдох, на спуске — расслабление, экономия усилия, которую он вычислил ещё в первый час и с тех пор держал как единственную дисциплину тела.

Соль засохла в трещинах губ уже к середине ночи, и трещины эти при каждом слове, при каждом движении челюсти, отдавали острой, точечной болью, будто кожу прокалывали иглой в одном и том же месте раз за разом. Он трогал губы языком — привычка, от которой не мог отказаться, хотя знал, что это лишь усугубляет растрескивание, — и чувствовал шершавую, чужую поверхность там, где раньше была просто кожа.

Он подумал — не сформулировал даже, а именно подумал обрывком, — что тело до странности точно воспроизводит на себе всю географию его прежней жизни: трещины, границы, места, где одно переходит в другое через боль. Мысль эта не понравилась ему настолько, что он немедленно вернулся к дрейфу: узел, направление, время, — и держался за эти три слова остаток ночи, как за перила на плохо освещённой лестнице.

*

Утро первого полного дня в воде — то есть уже второе утро с момента прыжка, если считать по солнцам, — началось с той же жажды, что и накануне, но качественно другой: вчера жажда была неудобством, сегодня она стала веществом, заполнившим рот, гортань, весь череп изнутри, о котором он уже вспоминал в ночных обрывках памяти, но которое утром явилось заново, будто организм каждый раз забывал накопленный опыт и переживал обезвоживание как первое потрясение.

Он знал, клинически, точно, из курса физиологии, который читали на кафедре гидробиологии человеку, который никогда не думал, что знание это станет не абстракцией, а инструкцией по выживанию: пить морскую воду нельзя. Осмотическое давление морской соли выше, чем способны выдержать почечные каналы; организм, пытаясь вывести избыток хлорида натрия, тратит на это больше пресной воды, чем получает с самой солёной жидкостью, — то есть каждый глоток моря приближает смерть от жажды, а не отдаляет её, ускоряет гидролиз тканей, забирает воду из клеток для того, чтобы разбавить кровь и вывести соль через мочу, и в итоге организм высушивает себя собственными руками, пытаясь себя напоить. Он проговаривал это себе с той дидактической точностью, с какой раньше готовил доклады для младших сотрудников лаборатории, — не потому, что нуждался в аргументах, а потому, что аргументы, произнесённые формально, держали панику на расстоянии.

И всё же его ладонь, зачерпнув воду для того лишь, чтобы смыть с лица соляную корку, поднялась к губам почти сама, — не по решению, а по той же слепой рефлекторной логике, что заставляет голодного тянуться к столу прежде, чем он вспомнит, что стол чужой, — и он застыл с этой мокрой ладонью у самого рта, чувствуя запах моря так близко, что казалось, будто вкус уже во рту, хотя губы ещё не разомкнулись.

Он остановился. Не потому, что вспомнил формулу гидролиза — формула была произнесена уже секундой раньше и не помогла бы против рефлекса, — а потому что вспомнил, вдруг, некстати, лицо матери над стаканом, тот жест, которым она в детстве подносила ему воду после температуры: «Пей, Витя. Пей, простынешь». В той воде было спасение. В этой — не было. Разница была абсолютной, но рука, требовавшая пить, не различала стаканов.

Он опустил ладонь обратно в воду, дал ей стечь и подержал пустую мокрую руку у лица дольше, чем требовалось для одного отказа.

*

Солнце к полудню встало в зенит не как образ, а как физическое орудие — раскалённая монета, вжимаемая в затылок, в плечи, в те участки кожи, что торчали из воды, — и он, помня ещё институтский курс о тепловом ударе, начал переворачиваться на спину, потом на живот, потом на бок, меняя угол, которым тело встречало это давление, с расчётливостью человека, вращающего кусок мяса на решётке, чтобы не сжечь одну сторону насквозь. Он считал время переворотов приблизительно по высоте солнца, экономя площадь ожога тем же методом, каким экономил бы площадь радиатора, отводящего тепло, — и в этой автоматической, бесстрастной инженерной логике было что-то, спасавшее рассудок от прямого созерцания того, что происходит с его собственной плотью.

Плечи уже покрылись волдырями, тонкими, водянистыми, лопающимися при малейшем трении о ткань штормовки, и каждый лопнувший волдырь оставлял под собой розовую, обнажённую полоску кожи, которую солёная вода тут же находила и разъедала заново, так что боль от ожога и боль от соли слились в одну сплошную полосу огня вдоль лопаток.

Он лежал, стараясь дышать медленно, глядя в белое, выжженное небо без единого облака, когда что-то мягкое, длинное, будто верёвка, коснулось его запястья снизу — коротко, вскользь, но с ощутимым, конкретным, отнюдь не воображаемым ожогом, отличным по характеру от солнечного: точечным, электрическим, будто под кожу вогнали тонкую проволоку под током.

Он вскрикнул, дёрнул рукой, и на секунду, прежде чем боль осмыслилась, успел увидеть саму медузу — полупрозрачный, пульсирующий колокол, скользнувший мимо в сантиметрах, безучастный к содеянному, уходящий вглубь тем же ритмичным, гипнотическим движением, каким живёт всё в этой воде, не спрашивая разрешения.

Запястье вспухло длинной, вспухшей полосой, красной, с мелкими белыми пузырями по краю, и боль эта была на удивление конкретной, почти будничной среди всего остального огромного, абстрактного мучения — как укус пчелы посреди землетрясения, гадкий, реальный, глупо мелкий на фоне обстоятельств и оттого особенно оскорбительный. Он выругался — коротко, одним словом, тем самым, за которое замполит Кузьмин сделал бы ему замечание.

*

На второй полный день в воде видение отца, приходившее раньше урывками, развернулось в целую сцену — не вспышку, не обрывок, а протяжённое, связное происшествие, в котором он участвовал так, как участвуют в реальности, не в воспоминании.

Солнце стояло в зените так плотно и так одинаково во все стороны, что превратилось в лампу — обычную канцелярскую лампу с зелёным абажуром, ту самую, что стояла на столе следователя в пятьдесят шестом году, — и поверхность воды под ним стала столом, обычным письменным столом, обшарпанным, с прожжённым сигаретой пятном у края, за которым он тогда стоял, потому что стула ему не предложили.

— Повторите фамилию по слогам, — сказал следователь, сидевший теперь по ту сторону стола-моря, и лицо у него всё время сдвигалось, теряло очертания и снова находило их, становясь то узким, чиновничьим лицом человека в форме, то широким, обветренным лицом отца — тем лицом, которое Виктор помнил хуже, чем хотел бы признаться, потому что отца забрали, когда Виктору было восемь, и все последующие годы память достраивала это лицо из фотографии, а не из живого наблюдения.

— Валь-тер, — сказал он, и голос дрогнул на второй слог, и рука его, лежавшая на столе-воде, вдруг оказалась погружённой в стол по запястье, будто дерево было жидким всегда, а он просто не замечал.

— Громче, — сказал следователь-отец. — Комиссия не слышит.

— Валь. Тер, — повторил он, громче, чем мог, и вода хлынула ему в открытый на этом слове рот, будто сама фамилия притягивала волну, будто произнесение немецкого корня открывало клапан, через который океан имел право войти внутрь.

— Немецкая? — спросил следователь, и в этот момент лицо его окончательно стало отцовским, усталым, в морщинах, каких у отца не было на единственной сохранившейся фотографии, где ему было тридцать пять и он ещё не сидел, — но эти морщины были логичны, были тем, что должно было появиться за пять лагерных лет, и сознание Виктора, зная это логически, дорисовывало их с жуткой, добросовестной точностью.

— Русская, — ответил он, как отвечал тогда, в реальном кабинете, — с восемнадцатого века в Петербурге.

Следователь-отец кивнул, полез в карман ватника за очками, которых у отца не было никогда, — Виктор знал это твёрдо, знал это как факт, отдельный от бреда, и всё же очки появились, круглые, стальные, — надел их, посмотрел на него сквозь толстые линзы, за которыми глаза увеличивались, плавали, теряли фокус.

— А слог у вас держится, — сказал он вдруг совсем другим тоном, не следовательским, тише, интимнее, — а вот совесть у вас, Витя, слаба. Слог держится, потому что вы его тренировали. Мы всегда лучше тренируем то, чего боимся, чем то, что любим.

И тут, посреди этой сцены, посреди лампы-солнца и стола-воды, он произнёс — не отцу, не следователю, а будто вслух самому морю, тем сорванным, кривым голосом, что у него остался:

— У страха профессиональная память лучше, чем у совести.

Фраза вышла сама, чужая, острая, как осколок стекла, найденный в кармане чужого пальто, — и он не мог сказать, произнёс ли её следователь, отец, или он сам, потому что в этой сцене все три голоса на секунду совпали, слились в одну гортань, и это совпадение испугало его больше, чем сама фраза.

Стол-вода качнулся, лампа-солнце вспыхнула ярче, и оба лица — отцовское и следовательское — снова разделились, потом снова слились, потом отец сказал, снимая несуществующие очки в последний раз:

— Мы здесь потому, что нас велено здесь держать. А ты — почему ты здесь?

Он не ответил. Он не знал, к какому «здесь» относился вопрос — к лагерю, к кабинету следователя, к открытому океану, — и, не отвечая, вдруг заметил, что стол под его локтями стал мокрым по-настоящему, что лампа погасла, а на её месте снова просто белое небо, и он лежит один, покачиваясь, локти онемели от долгого упора на несуществующее дерево, и во рту стоит вкус чужих слов, которых он вроде бы не произносил вслух, а вроде бы произносил.

*

Счёт дрейфа он вёл с самого начала — узел, направление, время, — повторяя цифры себе как молитву без бога, держась за это владение с яростью, которая сама по себе была формой веры не в спасение, а в то, что счёт ещё что-то значит, что если он способен считать, значит, способен различать себя от воды, от бреда, от отца в ватнике на гребне волны.

К середине второго полного дня счёт сбился впервые.

Он попытался восстановить, сколько часов прошло с последнего пересчёта, и обнаружил, что не помнит: то ли час, то ли три, то ли уже стемнело один раз с тех пор, а он этого не заметил, провалившись в короткий обморочный сон прямо на плаву. Он начал считать заново, от последней точки, которую твёрдо помнил, — прыжок с трапа, — и запутался на втором десятке часов, потерял, куда относить время сна, куда относить время бреда, следует ли вычитать минуты обморока или они тоже часть дрейфа, потому что тело всё равно двигалось течением, даже когда сознание отсутствовало.

Он попробовал снова. Сбился снова, в другом месте.

И тогда что-то в грудной клетке сжалось — не от страха, страх был давно фоновым, привычным состоянием, вроде температуры воздуха, — а от чего-то более тонкого и более разрушительного: от осознания, что единственный инструмент, которым он измерял собственное существование в этой воде, единственное, что отделяло научный, рассчитанный побег от простого утопления в отчаянии, оказался ненадёжен. Счёт подвёл его первым, раньше тела, раньше кожи, которая хотя бы честно шелушилась.

Он заплакал. Плакал без слёз, потому что слёз давно не было — вся вода тела шла на пот, на дыхание, на то небольшое, что оставалось от крови, — и плач этот выразился только в сухих спазмах гортани, в судорожном, беззвучном сокращении диафрагмы, похожем скорее на приступ кашля, чем на горе. Он плакал не о смерти. Смерть была абстракцией, к которой он давно привык, о которой думал с той же отстранённостью, с какой три недели назад вычислял высоту падения с палубы. Он плакал о том, что счёт не сходится, — потому что если не сходится счёт, то не сходится ничего, и человек, барахтающийся здесь, — не учёный, не подводник, не сын, а просто мясо, которое два дня удерживало иллюзию контроля с помощью цифр, а теперь цифры кончились, и осталось только мясо.

Он всё-таки досчитал — плохо, кое-как, приблизительно, — восстановил счёт по солнцу, по числу закатов, по грубой прикидке, и цифра получилась неточной, но она была, она существовала, и он вцепился в эту неточную цифру с той же яростью, с какой три года назад вцепился в саму идею побега: пусть неточно, пусть криво, но пусть будет структура, потому что структура, даже ложная, лучше её отсутствия.

*

Вторая ночь пришла с абсолютной, безлунной темнотой — облака, оставшиеся от циклона, закрыли и звёзды, которые он накануне отказался называть, — и в этой темноте, лишённый ориентиров, он почувствовал, как тело начинает предавать сознание методичнее, чем предавало днём.

Усталость накопилась такой плотной, вязкой массой, что удерживать голову над водой стало не привычкой, а актом воли, повторяемым каждые несколько секунд, — и в какой-то момент, он не мог сказать, в какой именно, воля моргнула, отключилась на долю секунды, и он провалился в сон стоя, то есть плавая, тело обмякло, лицо погрузилось, и вода хлынула в открытый рот и нос почти без сопротивления, потому что спящее тело не сопротивляется утоплению так, как сопротивляется бодрствующее.

Он проснулся от собственного кашля — резкого, рвущего, поднявшего его из глубины сна быстрее, чем поднимает будильник, — и первые секунды не понимал, где верх, где низ, колотил руками в панике, снова хлебал воду уже от паники, а не от сна, и только постепенно, через двадцать, тридцать секунд слепого барахтанья, восстановил ориентацию: голова над водой, дыхание, кашель, снова дыхание.

Он кашлял долго, из самой глубины лёгких, выталкивая воду вперемешку со слюзью, с горечью желчи, потому что желудок, пустой третьи сутки, отозвался на кашель спазмом, и в какой-то момент этого приступа он ощутил во рту явственный, хрусткий, песчаный привкус — будто на языке была горсть мелкого, влажного песка, — хотя он твёрдо знал, знал клинически и логически, что никакого песка здесь нет и быть не может, что до земли ещё сутки, а то и больше, что это только след галлюцинации, память о рифе, который ещё не наступил, забежавшая вперёд самого события.

Он ощупал языком нёбо, зубы, внутреннюю сторону щёк — песка не было, разумеется, не было, — но привкус держался ещё долго, упорнее, чем держится настоящий вкус, и привкус держался, упрямее настоящего вкуса.

*

Третий полный день начался с того, что имя стало отслаиваться.

Не сразу, не одним провалом, а медленно, слоями, как отслаивается обгоревшая кожа с его собственных плеч — сперва прозрачными, тонкими лохмотьями, потом целыми полосами. Он попробовал произнести себе, кто он, желая проверить, держится ли фундамент, и обнаружил, что фамилия идёт с усилием, будто он вспоминает иностранное слово, выученное давно и почти забытое: Вальтер. Он повторил ещё раз, вслух, разодранным горлом: Вальтер, — и звук получился правильным, но лишённым содержания, как читают вслух список на иностранном языке, зная произношение, но не зная значения слов.

Он попробовал другие опоры. Ленинград — город, где он родился, где жил на Петроградской стороне в квартире с высокими потолками и облупленной лепниной, — слово прозвучало, но не вызвало образа, ни лестничной клетки, ни двора, ничего, кроме самого звучания «Ленинград», абстрактного, картографического. Лаборатория — слово держалось чуть дольше, зацепившись за смутный запах реактивов, но и оно расплылось через секунду, не удержав ни лиц коллег, ни расположения приборов на столах. Кузьмин — фамилия замполита всплыла легко, но без лица, без голоса, просто ярлык, приклеенный к пустоте там, где раньше было раздражение, неприязнь, целая система отношений.

Он попробовал ещё раз, с нарастающей, холодной паникой другого рода, не физической: отец. Слово держалось. Держалось крепче остальных, будто было вбито глубже, на другом уровне, чем биография, — и он с удивлением, слишком измученным для полноценного удивления, отметил это: имена людей, названия городов, названия должностей стирались легче, чем эта одна, самая раннюю, самая простая связь.

Всё остальное соскальзывало. Оставался только толчок ногой — тот механический, безымянный акт, которым тело продолжало двигаться, толкаться, удерживать себя на поверхности, — и этот толчок не нуждался ни в имени, ни в биографии, ни в фамилии с немецким следом. Толчок был до языка, до документа, до всего, что можно было бы записать в протокол допроса.

Он почувствовал этот толчок в тот момент, когда имя уже отказалось держаться за мысль о себе, и это была самая грубая из всех возможных точек отсчёта — нога не знала грамматики, не знала истории семьи, не знала ничего, кроме самого движения, и из-за этой беспамятности двигалась с той же твёрдостью, с какой двигалась бы у твари, никогда не знавшей другого способа быть.

Мысль эта была последней связной мыслью того дня, которую он мог впоследствии — если было кому и когда впоследствии — счесть своей собственной, а не частью бреда.

К полудню третьего дня он попытался вспомнить лицо матери и не смог собрать его целиком — глаза отдельно, линия рта отдельно, седая прядь у виска отдельно, — как будто память держала не портрет, а разрозненные вещественные доказательства, снятые с одного и того же человека в разное время и по разным поводам. Он попробовал сложить их усилием воли, как складывают карту по линиям сгиба, и получил что-то среднее между матерью и той безликой женщиной со стаканом воды, которая приходила к нему накануне, — и от этого смешения ему стало не страшно, а стыдно, тем стыдом, что бывает, когда путаешь имена в письме на панихиду.

Он попробовал заговорить с этим составным лицом, обращаясь скорее к пустоте перед собой, чем к видению:

— Мама, я не в лагере.

Ответа не последовало — то ли потому, что видение матери, в отличие от видения отца-следователя, вообще не разговаривало, всегда молчало, протягивая стакан и повторяя одну и ту же фразу без вариаций, то ли потому, что сознание, истощённое допросом накануне, уже не имело сил на новую полноценную сцену и довольствовалось обрывком, эскизом, черновиком лица.

Язык во рту казался посторонним предметом, вложенным туда по ошибке, слишком большим для челюсти, слишком сухим, чтобы формировать звуки без боли. Он двигал им механически, произнося цифры дрейфа — узел, норд-вест, время, — не столько ради счёта, который всё равно уже сбилсся и восстановился криво, сколько ради самого движения языка, ради подтверждения, что мышца ещё подчиняется хоть какому-то приказу.

*

После этого пришла белизна.

Не свет солнца, каким он был днём раньше, — не раскалённая монета, вжимаемая в затылок, — а именно белизна: ровная, безграничная, лишённая источника, лишённая направления, лишённая даже тени, потому что тень требует контура, а контуров не осталось. Небо, вода, его собственные руки — всё слилось в один и тот же оттенок отсутствия цвета, будто кто-то вылил на мир избыток яркости, стёрший все границы между предметами.

В этой белизне тело двигалось само, помимо него, — руки гребли, ноги толкались, лёгкие вдыхали и выдыхали в старом, вбитом за годы ритме, — а тот, кто раньше назывался Виктором Вальтером, наблюдал за этим процессом как бы со стороны, без участия, без права голоса, будто присутствовал на защите чужой диссертации, темы которой не понимал, но обязан был высидеть до конца из вежливости.

Он не знал, сколько длилась эта белизна — час, три, весь остаток дня, — потому что внутри неё не было ни одной точки отсчёта, ни одного события, которое можно было бы обозначить как «до» и «после». Было только ровное, безучастное продолжение: гребок, толчок, вдох, гребок, толчок, вдох, — механика без хозяина, дыхание без имени, дышащее.

Единственное, что осталось у него как бы личным внутри этой белизны, — тонкая, безымянная нить тревоги, не оформленная в мысль, лишь ощущавшаяся как лёгкое давление где-то за грудиной, будто кто-то там, в глубине, не согласный полностью раствориться, продолжал придерживать какую-то последнюю дверь, не давая ей захлопнуться совсем.

*

Риф ударил его в колено раньше, чем глаза различили его в предрассветной мути.

Боль от удара была такой резкой, такой конкретной, отдельной от всей размытой муки предыдущих часов, что она на секунду вернула его в тело целиком — он вскрикнул, задохнулся, схватился рукой за острый край коралла и почувствовал, как кожа ладони рвётся о микроскопические лезвия известковых наростов.

Он полз. Не шёл — колени не держали, — а полз на четвереньках по мелководью, потом по обнажившемуся при отливе песчаному гребню, оставляя за собой тонкую нить крови, которая расплывалась в воде розовым и тут же исчезала, съеденная объёмом океана.

Островок был не остров в смысле пальм и бухт из книг — это была полоса песка и мёртвого коралла, метров сорок в длину, десять в ширину, усеянная птичьим помётом, который издавал резкий, аммиачный запах, ударивший ему в нос с такой силой, что он снова чуть не потерял сознание, но на этот раз от отвращения, а не от жажды.

Он лежал ничком на этом песке, чувствуя, как солнце снова принимается за его спину, как соль скрипит на зубах, как в ушах гудит — не прибой, а какое-то внутреннее, кровавое гудение, будто он до сих пор был под водой.

Он не ликовал. У него не было для этого ни сил, ни, как оказалось, потребности. То, что должно было быть моментом спасения — рифом, землёй, концом трёхдневного дрейфа, — оказалось просто новой поверхностью боли: солнце жгло иначе, чем вода холодила, но жгло так же безучастно.

В неглубокой выемке скалы, отшлифованной прежними приливами, стояла лужица дождевой воды — остаток недавнего дождя, тропического, короткого, который прошёл здесь, вероятно, накануне и не успел испариться под навесом каменного козырька.

Он подполз к ней на локтях, роняя голову почти в самую лужу, и пил, не поднимая лица, глотая вместе с водой песок, каких-то насекомых, вкус извёстки и птичьего помёта на камне, — и вода была тёплой, застоявшейся, отвратительной на всякий цивилизованный вкус, и она была лучшим, что он пил в своей жизни.

Он пил долго, с перерывами, чувствуя, как жидкость проходит внутрь и будто бы даже слышно, физиологически ощутимо, разливается по тканям, отдающим наконец воду обратно клеткам, которые три дня её просили.

Напившись, он откинулся на спину, глядя в белое, немилосердное небо, и сказал вслух, впервые за трое суток обращаясь не к формуле, не к отцу, не к следователю, а просто в воздух: — Виктор.

Слово прозвучало странно — треснутым голосом, через разодранное горло, — чужим, будто он произнёс имя постороннего человека, случайно вспомнившееся из старого разговора. Он повторил:

— Виктор Вальтер.

И на этот раз что-то в грудной клетке откликнулось — не гордостью, не облегчением, а тупым, тяжёлым узнаванием, как когда узнаёшь в морге лицо родственника: да, это он, это моё, я это признаю, хотя признавать нечем, кроме голого факта соответствия.

Имя было его. Больше ничьим. Пароходство спишет его пропавшим без вести, замполит Кузьмин доложит в рапорте о человеке, смытом за борт штормом, в архиве появится строка, мать — если мать жива — получит письмо с казённым сожалением. Всё это принадлежало документу, гербовой печати, тому Виктору Вальтеру, что играл в шахматы с механиком и не пил.

А этот, лежащий на птичьём помёте, обгоревший, с коленом, залитым кровью, с горлом, разодранным солью, — этот принадлежал только себе, и то с сомнением.

*

К вечеру третьего дня жар начал спадать, и с ним пришла не ясность, а какая-то опустошённая трезвость — та, что бывает после сильной рвоты, когда тело выворочено наизнанку и временно, обманно, спокойно.

Он лежал в тени скального выступа, глядя, как розовеет край неба на западе, и думал — уже не формулами, а обрывками, — о том, что до ближайшего обитаемого острова, если верить его собственным вычислениям, сделанным три недели назад над картой, должно быть миль пятнадцать-двадцать к северу, но у него не было ни сил, ни плота, ни малейшего представления, сколько ещё дней он способен выдержать без пищи на одной дождевой воде.

Он подумал о следователе с очками, которых не было, и о том, что тот спрашивал фамилию по слогам, будто фамилия могла расколоться, если произнести её неправильно. Валь. Тер. Немецкий след, дед, приехавший строить мосты при Александре Втором, вплетённый в документы так плотно, что стал уязвимостью, поводом для нажима на «эр». Здесь, на рифе, фамилия ничего не весила. Здесь весило только то, сколько метров он мог проползти, не потеряв сознание.

Ночь он провёл, то проваливаясь в тяжёлый бессвязный сон, то выныривая от боли в обожжённой коже, которая при малейшем движении отзывалась так, будто её натягивали на раскалённую форму.

Солёная корка на губах трескалась в темноте при каждом движении челюсти, и когда он пытался сомкнуть мучительно засохший язык, корка ломалась на углах губ с тихим, почти беззвучным треском, и вкус собственной крови — железный, тёплый, солоноватый, ничего общего с вкусом крови в детстве, когда разбиваешь колено на асфальте, — смешивался с вкусом соли так плотно, что он уже не мог разделить, где кончается море и начинается тело.

Отлив прибыл, дошедший к ночи, обнажил ещё несколько метров мёртвого коралла, и он услышал, вперемежку с гудением в собственных висках, сухой шелест, слабый ветерок в чёрных лунках между обломками — не волна, не ветер, а какое-то собственное дыхание островка, если у островка могло быть дыхание. Он лежал, прижав колено к груди, ощущая, как остаток дневного тепла в камне под ним быстро угасает, просачиваясь сквозь истончившуюся ткань штормовки, и слушал, как внутри камня, глубоко внутри, целая сеть трещин, таких мелких, что их никто бы не заметил на суше, переговаривались между собой, обсуждая какой-то собственный, неважный для него вопрос.

Один раз ему показалось, что рядом, у самой границы прилива, стоит человек в ватнике и молча смотрит на него, не подходя ближе, и Виктор, уже слишком измученный для страха, просто сказал в темноту: «Не сейчас», и видение — если это было видение — исчезло, не спорило.

За минуту до этого он пытался оценить, сколько ещё протянет эта ночь, и поймал, что время теперь измеряется не часами, а приступами боли в плечах, которые накатывались с каждым поворотом тела на каждом вдохе, и этот счёт, болевой, телесный, оказался единственным, что ещё работал без ошибок, там, где счёт цифровой, счёт дрейфа, давно сбился.

*

Рассвет четвёртого дня был неправдоподобно тихим — океан после шторма разгладился до стеклянной, маслянистой ровности, и в этой ровности, далеко у самой линии горизонта, на северо-востоке, он увидел судно.

Не сразу поверил глазам — три дня в бреду научили его не доверять зрению, — но силуэт держался, не растворялся, не превращался в отца или следователя, а оставался именно тем, чем должен быть: невысоким серым корпусом с надстройкой, идущим, судя по курсу, каким-то не самым близким маршрутом, огибающим рифовую цепь на почтительном расстоянии, — возможно, рыболовецкий траулер, возможно, каботажник, определить точнее не позволяла дистанция и слезящиеся от солнечного ожога глаза.

Он сидел на песке, на коленях, чувствуя, как обожжённая кожа плеч натягивается при каждом вдохе, и смотрел на этот силуэт так, как смотрят на что-то, происходящее не совсем с тобой, — с той же клинической отстранённостью, с которой три дня назад вычислял высоту падения с палубы.

Рука его начала подниматься — сама, мышечным рефлексом, тем самым, что заставляет утопающего хватать воздух, — и остановилась на середине пути, на уровне груди, замерла там, будто налилась той же тяжёлой водой, из которой он выполз накануне.

Судно шло своим курсом. Расстояние — он прикинул машинально, по старой привычке к вычислениям, — было такое, что заметить фигуру человека на этом рифе без специального наблюдения было почти невозможно; полоса песка сливалась с блеском воды, и человеческое тело на ней выглядело бы не крупнее птицы.

Он не крикнул. Голос всё равно не долетел бы дальше сотни метров, горло не выдало бы звука громче хрипа.

Он смотрел, как рука его — не полностью поднятая, замершая на полпути, — то ли ещё тянулась вверх, то ли уже опускалась, и сам не мог сказать, какое из этих двух движений происходит на самом деле, а какое он видит задним числом, приписывая своему телу решение, которого оно не принимало.

Судно уменьшилось, превратилось в точку, точка растворилась в дрожащем от жары воздухе у самого горизонта.

Он остался сидеть на коленях, с рукой на уровне груди, на птичьем помёте, среди обломков мёртвого коралла, и солнце снова принялось за его спину — методично, без ненависти, просто по расписанию.

Паспорт его, вместе с фотографией и записью о немецком следе фамилии, лежал сейчас в сейфе судовой канцелярии «Ольги Садовской», где-то далеко к северу, среди прочих документов пропавшего без вести старшего научного сотрудника, и был, вероятно, уже мёртв — списан, вычеркнут, оприходован в графу потерь.

Тело сидело на рифе, дышало, кровило коленом, шелушилось ожогами, и было живо совершенно независимо от того, что решала или не решала рука, поднятая на полпути к небу.

Камера хранения

Квартира встретила её тем же порядком, в котором она её оставила утром, — порядком настолько полным, что он перестал быть заслугой и превратился в свойство пространства, вроде температуры или влажности. На сушилке у раковины стояла одна тарелка, одна чашка, один нож, повёрнутый лезвием внутрь, — привычка, укоренившаяся ещё в те годы, когда в доме бывали дети соседей и её учили не оставлять острое там, где до него можно дотянуться не глядя. Детей давно не бывало ни у соседей, ни у неё, но нож продолжал лежать лезвием внутрь.

У стены в кухне стоял второй стул. Он не был лишним в том смысле, в каком бывает лишней мебель, которую забывают вынести, — просто у стола на двоих полагается два стула, и Клара давно перестала задавать себе вопрос, зачем в доме, где ест один человек, сохраняется симметрия на двоих. Стул придвинут был неплотно, чуть отставлен, будто кто-то только что поднялся из-за стола и вышел на минуту, не думая возвращаться прямо сейчас. Никто не под-

нимался. Просто так был придвинут стул в тот вечер, двадцать восемь лет назад, и с тех пор — при каждой уборке, при каждой перестановке — рука возвращала его в это же положение, на этот же зазор от стола, будто мышечная память жила отдельно от Клары и не спрашивала её мнения.

На стенах не висело ни одной фотографии. Это было заметно не сразу — стены были окрашены в спокойный, почти больничный светло-серый тон, и отсутствие рамок читалось как решение, а не как пустота, — но если посмотреть внимательно, можно было увидеть три едва различимых прямоугольника более тёмного оттенка краски там, где когда-то что-то висело и было снято, а стену не перекрашивали заново целиком, потому что перекраска показалась бы актом, требующим объяснения самой себе, а объяснения Клара давать не любила даже себе. Прямоугольники были разного размера. Самый маленький — там, где, вероятно, висела фотография из отпуска на границе с Австрией. Она знала это точно, потому что помнила гвоздь, крестообразный шуруп, чуть отличавшийся от других креплений в квартире, — деталь, которую заметил бы только тот, кто исследует поверхности профессионально, ищет несоответствия, вырывающиеся из общего фона.

Пахло в квартире нейтральным мылом без отдушки — тем самым, каким она мыла руки на работе, только версией для тела, не для инструментов, — и этот запах давно, почти незаметно, вытеснил все прочие запахи дома: ни специй, потому что готовила она скудно, по привычке насыщения, а не по любви к процессу; ни табака, потому что не курила; ни чужого одеколона, потому что чужих в доме не бывало годами. Только мыло, немного пыли на верхних полках, до которых руки не доходили при уборке, и — если войти в спальню и остановиться у шкафа — тончайший, почти иллюзорный след старой ткани, шерсти, пролежавшей свёрнутой много лет; запах, который сама Клара называла воображаемым, когда позволяла себе думать об этом вообще, потому что вещь, лежащая неподвижно двадцать восемь лет, не должна пахнуть ничем, кроме нафталина, а нафталин Клара туда не клادла из принципа, не желая консервировать то, что и без химии не собиралось истлеть.

В прихожей часы — механические, доставшиеся от отца, — тикали с той размеренностью, которая в тихом доме превращается в подобие пульса: единственный звук, продолжающийся без её участия, независимо от того, спит она, работает или стоит неподвижно посреди комнаты, забыв, зачем в неё вошла. Она сверяла с этими часами всё: время выхода, время возвращения, время, когда пора ложиться, чтобы выспаться перед вскрытием. Часы не ошибались.

В ванной, на полке над раковиной, стояли предметы в том порядке, в каком она их расставила много лет назад и не переставляла с тех пор: зубная щётка, стакан, мыло без отдушки — то же самое, каким пахла вся квартира, — и больше ничего, ни второй щётки в стакане, ни следа чужой бритвы на краю полки, ни чужого флакона, задвинутого в угол и забытого там на месяцы, как это бывает в домах, где живут вдвоём и не всегда убирают за другим. Полка была слишком опрятной для дома, где кто-то живёт полноценной, наполненной чужими вещами жизнью, — опрятность эта была не результатом уборки, а результатом отсутствия: убирать за собой одному человеку почти не приходится, потому что не с кем спорить о том, куда класть щётку.

В шкафу в прихожей, там, где полагалось бы висеть двум-трём пальто на смену погоды, висело одно — то самое, зимнее, тяжёлое, которое она надевала на выезды, — и рядом с ним, немного глубже, у самой стенки шкафа, куда свет от лампочки почти не доставал, второе пальто, женское, чуть более светлого оттенка шерсти, свёрнутое, а не подвешенное на плечики, будто хозяйка убрала его второпях, не рассчитывая, что оно провисит там дольше одной ночи. Клара знала точное место этого пальто с точностью, с какой знала расположение каждого инструмента на своём столе: третья полка снизу, у левого края, между стопкой старых постельных принадлежностей и коробкой с зимними ботинками, которые она давно не носила, потому что колени стали хуже держать её вес на скользком.

В спальне, у кровати, с одной стороны стоял ночник, который она включала, если нужно было читать перед сном что-то из профессиональной литературы, — с другой стороны прикроватного столика не было вовсе, только пустое место на полу, где след от ножек мебели давно вытерся в паркете, но само отсутствие следа осталось заметным, потому что паркет вокруг этого места чуть темнее, чем внутри контура, где столик когда-то стоял, защищая доски от солнца, попадавшего в комнату по утрам.

Она легла в половине двенадцатого, зная, что пейджер молчит уже третьи сутки, — редкая пауза, — и в этой паузе не было отдыха, только застой, похожий на тот, что возникает в венах, если долго не двигаться: кровь есть, но течёт вяло, без нужды и цели. Она уснула быстро, привычно, без ритуалов, кроме одного: перед сном она проверяла, заперта ли дверь, хотя дверь в её квартире не запирали никто, кроме неё самой, уже давно.

Пейджер вырвал её из сна коротким рывком в третьем часу ночи, как выдох, — и она уже знала, ещё не открыв глаз, ещё не прочитав цифр: мужчина, неизвестный, река. Дождь над Цюрихом к этому часу перешёл из вертикального в косой, а потом снова стал вертикальным, будто передумал, будто небо тоже не могло определиться, как ему падать сегодня ночью.

Она оделась в темноте, не зажигая света, — привычка человека, который не хочет видеть собственное лицо в зеркале прихожей раньше, чем это необходимо. Пальто было холодным на плечах, как всегда после долгого висения на крюке. Она подумала: пальто помнит форму тела дольше, чем тело помнит форму объятия. Мысль была лишней, чужой, вроде мошки, залетевшей в комнату, — она отогнала её без раздражения, привычным движением сознания, и вышла к машине.

Ноябрьский Цюрих в третьем часу ночи принадлежал дворникам её собственной машины и никому больше. Они шли по стеклу с тем ровным, чуть скрипучим звуком, который через минуту перестаёт замечаться вовсе, растворяясь в фоне, как тиканье часов в прихожей. Улицы были мокрыми и пустыми настолько, что светофоры казались декорацией для города, который забыл выключить иллюминацию, забыв заодно и жителей. Трамвайные остановки стояли освещённые, безлюдные, стеклянные короба с расписанием, которое никто не читал в этот час, — и когда фары её машины на секунду выхватывали одну из них, Клара видела внутри короба смутное отражение собственного лица, наложенное на пустую скамейку, и не всматривалась в него, точно так же, как не всматривалась в зеркало прихожей.

Радио в машине молчало. Она не включала его никогда в такие поездки — ни музыку, ни новости, ни голоса дежурных дикторов, читающих прогноз погоды тем бодрым тоном, каким полагается говорить о дожде людям, которые сами в него не выйдут. Молчание в машине было частью дороги. Любой звук извне казался бы вторжением.

Перчатки на руле были мокрыми — она не заметила, когда именно на них попала вода: возможно, ещё во дворе, возможно, от рычага двери, — и кожа перчаток, потемневшая от влаги, издавала при каждом повороте руля тихий, чуть скользкий звук, будто ладони её обёрнуты не тканью, а чем-то живым, дышащим отдельно от неё. Она не снимала перчаток.

Мост через Лиммат она проехала на пустой полосе, не притормаживая, — вода под мостом шла быстрая, тёмная, взбухшая после дождей последних дней, и Клара, не сворачивая головы, знала, что где-то там, ниже по течению, у Летциграбена, эта самая вода уже несколько часов держит то, что скоро окажется на её столе.

Институт судебной медицины принимал ночных постояльцев со стороны въезда для каталок, там, где асфальт был исчерчен полосами от колёс и присыпан песком после дождя. Двое полицейских курили под козырьком, вода стекала с капюшонов на сапоги — мокрые, тяжёлые, с налипшей на подошвы серой глиной речного берега, той особенной, вязкой глиной, которая держится на резине сапог даже после нескольких шагов по сухому асфальту, потому что успевает высохнуть неравномерно, комками, и каждый комок несёт в себе память о том месте на берегу, где полицейский стоял, ожидая, пока тело выплутают из коряги.

Один из них, помоложе, кивнул ей с той смесью почтения и опасения, с которой обычно приветствуют людей, чья профессия ежедневно соприкасается с тем, о чём остальные предпочитают не думать. Второй, старше, стоял чуть в стороне, докуривая сигарету коротким, нервным движением, будто хотел покончить с ней быстрее, чем положенное время горения табака, — Клара заметила это, не подумав об этом специально: она замечала такие детали автоматически, тем же способом, каким замечала цвет кожи под ногтями или температуру помещения, без усилия воли, просто потому что смотреть внимательно было её профессией дольше, чем что-либо ещё в жизни.

— Фрау доктор, — сказал молодой. — Мы его достали у Летциграбена, зацепился за корягу. Документов нет.

— Возраст на вид?

— Сложно сказать. Вода такое делает.

— Да, — согласилась Клара. — Вода такое делает.

Мешок, в котором лежало тело, был застёгнут наспех — молния прошла неровно, зацепив край простыни внутри, — и когда санитары перекладывали его с носилок береговой службы на институтскую каталку, из-под резины пахло тем особым запахом, который Клара узнавала безошибочно, независимо от сезона: илом, тонкой нотой бензина, стекавшего с проходящих над рекой мостов, и холодом — не запахом холода, потому что холод не пахнет, но чем-то смежным с этим отсутствием, чем-то, что нос воспринимает как холод раньше, чем кожа успевает это подтвердить. Она вдохнула этот запах машинально, без гримасы, как вдыхают воздух вообще, — потому что за двадцать два года этот запах перестал быть неприятным в том смысле, в каком он неприятен непривычному человеку; он стал просто информацией, первым, доскальпельным слоем диагноза.

Молодой полицейский протянул ей планшет с бумагой на подпись — акт передачи — и, пока Клара расписывалась, стоя вполоборота к каталке, добавил, понизив голос, будто сообщал что-то неуставное:

— Он там долго был, фрау доктор. Недели, наверное. Река его не сразу отпустила.

— Это увидим, — ответила Клара, не поднимая глаз от бумаги. Она не любила предварительных заключений с чужих слов, даже когда чужие слова были, скорее всего, верны.

Лифт для каталок шёл медленно, с тем низким гулом, который она различала бы среди тысячи других звуков, если бы её разбудили этим звуком через сто лет. Кабина была узкой, обшитой металлом с царапинами вдоль стен — следами многолетних неловких разворотов каталок в замкнутом пространстве, — и лампа под потолком лифта горела чуть желтее, чем полагалось бы люминесцентной лампе, будто институт специально экономил на этой одной лампе, зная, что никто из пассажиров лифта не станет жаловаться на освещение.

В подвальном этаже было холодно ровно настолько, насколько нужно, — плюс четыре, влажность контролируется, свет люминесцентный, безжалостный и честный. Клара прошла в раздевалку, сняла пальто, повесила его на крюк с той же методичностью, с которой раскладывала инструменты, и на секунду задержала руку на плече пальто, ощущая, как ткань, ещё хранившая тепло машины, начинает отдавать это тепло холодному воздуху комнаты, — быстрее, чем отдаёт тепло человеческое тело, но по той же самой физике, по тому же неумолимому закону остывания, знакомому ей на молекулярном уровне лучше, чем большинству физиков.

Она надела халат — свежий, из тех, что кладёт в шкаф прачечная института раз в сутки, всегда сложенные одинаково, всегда пахнущие одинаково: слабым химическим отбеливателем, перекрывающим все прочие запахи, — и, застёгивая пуговицы, чувствовала, как ткань холодит кожу через тонкую блузку, температура ткани всегда чуть ниже температуры воздуха в помещении, потому что халаты хранятся у наружной стены, куда меньше проникает тепло от вентиляции. Перчатки она натягивала с тем же вниманием, с каким хирург проверяет швы: сначала левая, палец за пальцем, потом правая, — латекс липнет к чуть влажной от волнения

или просто от привычного напряжения коже ладоней, и этот липкий, почти неприятный первый контакт с перчаткой Клара воспринимала как сигнал готовности, как звонок, предваряющий начало действия.

Волосы она собрала под шапочку, хотя знала — знала твёрдо, эмпирически, годами наблюдения за собственным телом, — что запах формалина всё равно проникнет туда, куда доберётся, минуя любую защиту, что вечером, дома, распустив волосы перед сном, она поднесёт к лицу прядь и почувствует этот запах снова, слабый, почти призрачный, но безошибочно узнаваемый, — запах, который не выветривался ни шампунем, ни временем, ни расстоянием от института, потому что въедался не в волосы даже, а куда-то глубже, в саму привычку обонять мир через эту единственную, неотступную ноту.

Тело лежало на каталке у входа в прозекторскую, покрытое зелёной простынёй, из-под которой торчала стопа — серая, разбухшая, с содранной у пальцев кожей, похожей на мокрую перчатку, снятую наполовину. Клара остановилась на секунду, не из брезгливости, а из уважения, — так останавливаются перед дверью, в которую собираются войти без разрешения хозяина, зная, что хозяин уже никогда не сможет ни разрешить, ни запретить.

— Здравствуйте, — сказала она вслух, тихо, себе, не ему, хотя формально обращалась к нему.

Это было единственное, что она себе позволяла: приветствие.

Наружный осмотр она проводила ещё до описи вещей — так было положено по внутреннему порядку института, хотя не все патологии следовали этому порядку так пунктуально, как она. Она откинула простыню целиком, включила направленный свет над столом, и лампа выхватила тело во всей его подробности: кожу кистей рук, побелевшую и сморщенную настолько, что напоминала перчатку прачки после долгой стирки, — феномен, известный студентам-медикам под именем «руки прачки», *washerwoman's hands*, но Клара давно перестала пользоваться этим прозвищем даже мысленно, находя его слишком легкомысленным для того, что видела перед собой. Под ногтями — тёмная, почти чёрная тина, забившаяся глубоко в ложе ногтевой пластины; она взяла тонкий инструмент и аккуратно, методично, палец за пальцем, извлекла образец этой тины в отдельную пробирку — возможный источник информации о месте, где тело провело своё время до того, как его вынесло к Летциграбену.

Мацерация кожи была выраженной, но не предельной: эпидермис отслаивался пластами на кистях и стопах, но на туловище держался достаточно плотно, чтобы судить о сложении и приблизительном возрасте. Документов при теле не нашли — карманы куртки были пусты, если не считать той единственной застёгнутой молнии внутреннего кармана, до которой руки ещё не дошли, — а лицо было изменено водой достаточно, чтобы идентификация по внешности представлялась делом сомнительным, требующим стоматологической карты или анализа ДНК, если объявится хоть какой-то родственник, готовый предоставить образец для сравнения.

Клара двигалась вдоль тела медленно, называя вслух каждую находку для диктофона.

Она осмотрела шею, ключицы, ребра сквозь кожу, пальпируя каждую область тем особым нажимом, который отличает диагностическую пальпацию от простого касания, — нажим, рассчитанный до грамма, выверенный годами на живых пациентах ещё в те времена, когда она заканчивала интернатуру в терапии и только потом окончательно перешла на сторону тех, кто уже не отвечает жалобой на боль. На левом предплечье, у самого локтевого сгиба, обнаружился след — старый, зарубцевавшийся, не имеющий отношения к реке, к утоплению, к последним неделям жизни этого человека: шрам от давнего перелома, вправленного, судя по неровности линии, не самым аккуратным хирургом, возможно, в другой стране, возможно, много десятилетий назад. Клара провела по нему подушечкой пальца в перчатке, ощущая под латексом лёгкую выпуклость костной мозоли.

Волосы на затылке слиплись от ила в плотный колтун, и, раздвигая их пинцетом, Клара обнаружила небольшую, зажившую давно ссадину на коже головы — тоже старую, тоже не относящуюся к делу, но она отметила её вслух для протокола, потому что в её ремесле не бывает несущественных находок, бывают только находки, чья существенность пока не установлена. Запах ила усилился, когда она наклонилась ближе к волосам, — тяжёлый, сладковато-гнилостный запах речного дна, смешанный с чем-то металлическим, возможно, следами ржавчины от той самой коряги, что держала тело столько дней. Она вдохнула этот запах спокойно, не отстраняясь, — обоняние патологоанатома со временем перестаёт защищаться от неприятного, оно просто регистрирует состав, как регистрирует газовый хроматограф, без безразличности и без наслаждения, чистая функция.

Глаза мужчины были прикрыты неплотно, рогица помутнела характерным для длительного пребывания в воде образом, и Клара, приподняв веко тонким инструментом, отметила степень этого помутнения для протокола, привычно и без содрогания, — там, где непривычный человек отвёл бы взгляд, она смотрела дольше положенного, потому что взгляд, отведённый вовремя, оставляет вопрос без ответа, а вопрос без ответа хуже любой неприглядной картины. Кожа лица, вздувшаяся неравномерно, стёрла черты настолько, что восстановить по ним прижизненный облик было бы делом художника-реконструктора, а не патологоанатома, — работа, которая, возможно, впереди, если следствие не найдёт родственников по другим приметам.

Перед описью Клара ещё раз вернулась к голове и шее — не из-за того, что протокол требовал повторного осмотра, а из того внутреннего правила, которому она сама себя научила ещё в интернатуре: прежде чем перейти от наружного к внутреннему, нужно ещё раз пройти глазами по всей поверхности целиком, чтобы не пропустить ничего, что потом придётся восстанавливать из памяти, а память, даже её собственная, всё-таки подводит, чаще, чем признаётся вслух.

Затылок шеи был мягким, граница между лицом и волосатой частью головы стёрта из-за разбухания, и когда Клара провела пальцами по этой границе, кожа прогибалась под пальцами тем особым образом, каким расступается влажная бумага, если её тронуть после долгого лежания в воде. Она отметила три точечные кровоизлияния на коже шеи, мелкие, точечные, не складывающиеся в чёткий рисунок удавления, и отложила их оценку на будущее, на тот этап, когда внутренний осмотр даст достаточно материала, чтобы отличить прижизненное повреждение от артефакта длительного пребывания в воде.

Опись личных вещей — таков был следующий этап. Одежда мужчины, вернее, то, что от неё осталось, была разложена лаборантом на отдельном столе: куртка, разбухшая до состояния мешка с песком, брюки, один ботинок. И маленький предмет во внутреннем кармане куртки, застёгнутом на молнию, — единственное застёгнутое место во всей этой мокрой хронике распада.

Лаборант, парень по имени Дитер, осторожно вынул его пинцетом и положил в пластиковый лоток.

— Странно, что не потерялось, — сказал он. — Молния держала.

— Хорошая молния, — сказала Клара, не отрывая взгляда от лотка. — Швейцарская, наверное.

Дитер хмыкнул — не потому что фраза была смешной, а потому что любая реплика, произнесённая в прозекторской в четвёртом часу ночи, звучит немного смешной просто по факту своего существования в этих стенах, где смех не запрещён, но воспринимается организмом как что-то избыточное, требующее дополнительного усилия.

Он был из новых, работал в институте меньше года, и Клара ещё не привыкла к его манере комментировать находки — не из панибратства, а, кажется, из потребности заполнить тишину прозекторской чем-то человеческим, хотя бы репликой о молнии. Старые лаборанты, работав-

шие с ней десятилетиями, давно перестали произносить что-либо, кроме номеров и названий органов; их молчание Клара находила профессиональным, почти изящным. Молчание Дитера ещё не устоялось, оно то и дело прорывалось этими короткими репликами, и Клара терпела их так, как терпят шум за стеной в первые недели после переезда, — зная, что со временем звук либо стихнет, либо перестанет замечаться.

Он разложил на соседнем столе остальное содержимое карманов — пуговицу, отломанную от куртки и найденную свободно болтающейся в подкладке, скомканный, разбухший до нечитаемости обрывок бумаги, в котором можно было различить только фрагмент печатного текста, не поддающийся расшифровке, — и, наконец, снял со стола лоток с книжкой, чтобы отнести его на весы для контрольного взвешивания, положенного по протоколу для всех влажных предметов, изъятых с тела.

Это была записная книжка-календарь, из тех, что дарят на конец года банки постоянным клиентам, — тонкая, в кожаном переплёте, разбухшая от воды до толщины кулака, страницы слепились в единый ком целлюлозы. Клара взяла лоток, повернула его под лампой, и на внутренней стороне обложки, там, где кожа была чуть тверже, увидела вытисненные, а потом ещё и вручную выпарапанные, будто владелец не поверил заводскому клейму и продублировал его сам, цифры.

14.10.1998.

Она смотрела на дату ровно столько, сколько смотрит патологоанатом на любую находку, требующую внесения в протокол, — три, четыре секунды. Ничего не произошло. Сердце не дрогнуло, дыхание не изменилось. Она положила лоток на весы, продиктовала: «В левом внутреннем кармане куртки обнаружена записная книжка-календарь в кожаном переплёте с выгравированной датой один-четыре-точка-один-ноль-точка-один-девять-девять-восемь, содержимое не поддаётся прочтению вследствие мацерации», — и вернулась к телу.

Datum не был её датой. Она знала это твёрдо, как знают температуру тела через перчатку: это была дата чужой жизни, чужой утраты, вписанной в чужую записную книжку по неизвестной причине — годовщина свадьбы, дата смерти отца, число, когда купили эту чёртову машину, что угодно. Она продолжила диктовать.

— Männlich, ca. fünfundvierzig bis fünfzig Jahre, mittlerer Ernährungszustand...

Мужчина, около сорока пяти — пятидесяти лет, среднего питания.

Дитер отступил к раковине — готовить инструменты для следующего этапа, — а Регула, молодая ассистентка, вошла в прозекторскую минутой позже, стряхивая с рукава капли дождя, которые занесла с собой снаружи, хотя снаружи, по идее, дождь давно должен был закончиться, но, видимо, начался снова, коротким, коварным приступом, каким изобилуют цюрихские ноябри. Она встала у стола с протоколом, приготовившись фиксировать устную диктовку письменно, — на случай сбоя диктофона, порядок, введённый после одного неприятного случая с испорченной кассетой много лет назад, о котором в институте до сих пор вспоминали как о едином, показательном уроке техники безопасности.

Скальпель Клары вошёл в кожу грудной клетки тем движением, которое давно перестало быть решением и стало частью её тела не меньше, чем движение собственной руки при подписании документа: линия шла от яремной вырезки вниз, привычным углом, безошибочным даже в темноте, если бы свет вдруг погас — рука бы закончила разрез по памяти мышц, не глаз. Сог — сердце, увеличено незначительно, чуть смещено вперёд той посмертной подвижностью, которая всегда удивляет непосвящённых и никогда — тех, кто держал в руках достаточно сердца, чтобы понять: орган, извлечённый из своего гнезда связок и перикарда, ведёт себя иначе, чем орган, работающий на своём месте, — освобождённая мышца оседает под собственным весом, будто, наконец, позволяет себе расслабиться после десятилетий непрерывного труда.

Латынь и немецкий сплетались привычной косой в голосе Клары, ровном, безличном, будто читающем инвентарную ведомость: *hepat* — печень с признаками застоя, тяжёлая, тём-

ная, увеличенная сильнее, чем полагалось бы при обычном утоплении, признак, заносимый в протокол отдельной строкой, требующий отдельного внимания; *pulmo* — лёгкие отёчны, тяжёлые от воды в альвеолах, характерная картина для утопления, если бы не одно «но», которое она отметила позже, синюшность иного оттенка, кровоизлияние иной локализации, вопрос, требующий токсикологии.

Она взвесила каждый орган отдельно, называя вес вслух для диктофона тем же ровным, бесстрастным тоном, каким оценивала бы вес монеты, — и в тактильном ощущении органов, набухших, тяжёлых от воды, её рукам было точно известно, где кончается ткань, обычная для тела живого человека, и где начинается то, что река внесла в эту ткань сама, своим собственным весом, своим собственным временем.

Мочу из мочевого пузыря она взяла для токсикологии отдельно, обозначив пробирку номером дела твёрдым, нестирающимся маркером на матовом ярлыке, — деталь, которую она всегда отмечала с лёгким уважением к технической стороне своего ремесла, качеству маркера, который никогда не растекается вовсе, лишь высыхает чуть быстрее воды.

Работа шла своим чередом, руки делали то, что умели делать двадцать два года, скальпель шёл по линии, привычной, как подпись, — и где-то внутри этого потока, между *lig. teres hepatis*, круглой связкой печени, тонким фиброзным шнуром, оставшимся от эмбриональной пупочной вены, бывшим когда-то сосудом, питавшим плод, а теперь ставшим бесполезной верёвочкой в брюшной полости, — между этим латинским словом и следующим движением руки дата вошла в неё. Не сразу. Не как удар. Как скальпель, который на секунду встречает более плотную ткань, чем ожидалось, и рука невольно замедляется, прежде чем разрешить себе продолжить разрез.

Странно устроена связка, думала Клара тем краем сознания, который у неё всегда работал отдельно от диктующего голоса, — сосуд, что когда-то соединял двух, становится верёвкой, соединяющей орган с самим собой. Ткань помнит форму связи дольше, чем тело помнит нужду в ней.

14 октября 1998 года — короткой вспышкой, длившейся не дольше удара сердца, — вернулся запах мокрого пальто, того самого, тяжёлого, с примесью старой бумаги, каким пропитывается человек, целыми днями работающий среди архивных стеллажей. Вспышка была почти безобидной, лёгкой, как искра статики от прикосновения к металлической ручке в сухой день, — и Клара продолжила диктовать, не сбившись, потому что двадцать два года дисциплины умели удерживать голос ровным даже тогда, когда где-то на периферии сознания вспыхивала и гасла картинка, не имеющая отношения к печени, лежащей перед ней на весах.

Следом, через несколько минут, ещё одна вспышка — жёлтый свет, тот немного больничный жёлтый свет кухни, который она так и не заменила ни на что мягче. Клара отметила его так, как отмечала бы посторонний шум за стеной прозекторской: зафиксировала присутствие, не позволила себе обернуться на источник. Регула, склонившаяся над протоколом, ничего не заметила. Голос не дрогнул.

А потом, целиком, без остатка, кухня встала перед ней — не как вспышка, а как декорация, включённая полностью, со всеми деталями сразу, тем способом, каким память иногда возвращает не фрагмент, а весь павильон сцены целиком, до последней тени на плитке пола.

Верхний свет горел в этой кухне жёлтым, немного больничным светом, который Клара так и не заменила на что-то мягче, потому что мягкий свет казался ей неточным, — предпочтение, зародившееся, вероятно, ещё в ординатуре, где точность освещения означала точность диагноза, а неточность могла означать пропущенную деталь, отёк, не отличённый от нормы из-за слишком романтической лампы. Анна сидела за столом, не сняв пальто, — мокрого, тяжёлого, с запахом дождя и старой бумаги, того особого запаха, каким пропитывается человек, целыми днями работающий среди архивных стеллажей кантонального архива, среди актов и метрических книг, среди чужих смертей и рождений, зафиксированных чужой рукой. Клара помнила

этот запах отчётливее, чем помнила лицо Анны в ту секунду, — обоняние оказалось честнее памяти, оно ничего не подправило за двадцать лет.

Пальто лежало на плечах Анны неровно, один рукав слегка сполз, обнажив запястье, покрасневшее от холода, — Клара заметила это тогда автоматически, тем же взглядом, каким замечала бы синяк на теле пациента, не позволяя взгляду задержаться дольше секунды, потому что задержаться значило признать, что тело перед ней не абстракция, а человек, которому холодно, которому нужно, чтобы кто-то предложил снять пальто, повесить его, налить чаю, — а Клара в тот вечер варианта «предложить» не выбрала, выбрала вариант «стоять в дверях с полотенцем».

Полотенце в её руках было мокрым от мытой посуды — одной тарелки, одной чашки, привычка методичности не изменяла ей даже в тот вечер, — и она вытирала пальцы этим полотенцем медленно, механически, глядя не на Анну, а куда-то в область стола, на клеёнку с мелким геометрическим узором, который Клара помнила до сих пор, хотя саму клеёнку выбросила через месяц после того вечера.

Анна сказала тогда: «Я не прошу тебя ничего решать сегодня. Я прошу тебя не уходить из комнаты, когда я плачу». Простая просьба, произнесённая тихим, севшим от простуды или от слёз голосом — Клара так и не поняла, от чего именно.

Голос Анны в тот момент не дрожал истерически, не срывался в крик, — он был именно севшим, приглушённым, будто она сама сдерживала его силу, зная, что крик только даст Кларе повод уйти раньше времени, укрывшись за раздражением.

Часы над плитой в той кухне — обычные, электрические, с зелёной светящейся цифрой — показывали без четверти одиннадцать, и Клара помнила эту цифру так же отчётливо, как помнила запах архивной бумаги. Взгляд тогда упал на табло, не на лицо Анны.

И Клара, стоя в дверях кухни, с полотенцем в руках, потому что перед этим мыла посуду с той же методичностью, с какой мыла инструменты, сказала: «У меня утром вскрытие в семь. Мне нужно выспаться».

Это было правдой. У неё действительно было вскрытие в семь. Правда — самое надёжное укрытие для труса.

Анна не ответила сразу. Она сидела, глядя на клеёнку тем же взглядом, каким сама Клара смотрела на протоколы, требующие подписи, — взглядом человека, окончательно понявшего, что дальше говорить бессмысленно, но ещё не готового встать и уйти, потому что вставать и уходить значило признать конец чего-то, что до этой секунды можно было называть просто плохим вечером.

Анна не встала резко. Она посидела ещё несколько секунд, глядя на свои руки, лежавшие на клеёнке, — руки архивиста, с плоскими кончиками пальцев, какие бывают у людей, перебирающих бумагу без перерыва годами, — а потом поднялась, не глядя на Клару, будто взгляд на неё требовал бы сил, которых у неё уже не осталось на сегодня. Она взяла со стула мокрое пальто — ткань ещё не просохла окончательно, от спинки стула на плитку сошла тёмная полоса, какую Клара вытерла губкой только на следующее утро — и вышла в дождь, из которого пришла час назад. Жёлтый свет. Мокрое пальто на спинке стула, где оно провисело ещё три дня, прежде чем Клара сняла его и убрала в шкаф.

В те три дня, пока пальто висело на стуле, Клара его не трогала и даже пыталась не замечать его, проходя мимо кухни тем же маршрутом, каким обходят чёткий предмет на кратчайшей возможной траектории, дабы лишний раз не зацепить взглядом. За эти три дня пальто просохло неравномерно — плечи раньше, подол позже, — и когда Клара наконец сняла его со стула, ткань была жёсткой в одних местах и совсем мягкой, без формы, в других — асимметрия, которую она отметила тем же взглядом, каким отметила бы неравномерную атрофию ткани у давно неподвижного больного, — бесстрастно, профессионально, и всё равно не выбросила.

— *Herzgewicht: dreihundertzwanzig Gramm*, — сказала она в диктофон, и это была не оговорка, вес сердца, триста двадцать граммов, обычный вес для мужчины его комплекции, но на долю секунды слово «*Herz*» — сердце — прозвучало в комнате слишком громко, будто помещение вдруг стало резонатором для одного этого слова, и всё остальное — плитка на стенах, лоток с инструментами, дождь за узким подвальным окном — на мгновение отступило в тень этого звука.

Она сделала паузу. Ассистентка, молодая женщина по имени Регула, стоявшая напротив с протоколом, подняла глаза.

Регула работала с Кларой шестой год, и за эти годы научилась читать паузы в голосе своего руководителя точнее, чем читают паузы в результатах анализов, — пауза, которая длится дольше двух секунд, всегда означала что-то, выходящее за пределы протокола, хотя сама Регула никогда бы не решилась спросить прямо, что именно. Она стояла с карандашом, приподнятым над бумагой, готовая зафиксировать следующее слово, какое бы оно ни последовало, и эта готовность в ней была тем единственным, чего Клара требовала от любого, кто стоял рядом с ней у стола: не сочувствие, не объяснения — только готовность зафиксировать то, что сказано, без возврата.

В эту секунду в прозекторской было слышно, как всегда в это время суток: вентиляция гнала свой однотонный, низкий гул, где-то над головой постукивала лампа с чуть слабым контактом, а дождь за узким окном, в тот вечер сначала вертикальный, давно перешёл в косой, неторопливый шум, что бывает у ноябрьского дождя к третьему, четвёртому часу после его начала. Клара слышала собственное дыхание, ровное, ничего не выдававшее, и под перчаткой, там, где латекс прилегал к коже ладони, пульс бился тем же темпом, каким бился всегда, и эта ровность пульса была единственным доказательством, которое ей сейчас требовалось — никакое другое.

— Фрау доктор?

— Ничего, — сказала Клара. — Продолжаем.

Работа была закончена в положенный срок, безупречно, без единой лишней строки в протоколе и без единой пропущенной. Причина смерти — предварительно, до токсикологии — асфиксия при утоплении, с оговоркой о необходимости дополнительного исследования по поводу локализации кровоизлияний. Всё, как полагается. Всё точно.

Потом она мыла руки.

Раковина в прозекторской была из нержавеющей стали, с локтевым краном, вода шла горячая почти сразу — институт не экономил на этом, — и Клара стояла над этой водой на четыре минуты дольше, чем требовала процедура, глядя, как пена стекает между пальцами, как краснеет кожа под ногтями, где, казалось, навсегда осела мельчайшая, невидимая глазу пыль формалина. Регула вышла раньше, унося протокол на подпись заведующему, и в прозекторской осталось только жужжание вентиляции и звук воды, и Клара, впервые за много лет, не смогла точно сказать, что она смывает.

Она вытирала руки бумажным полотенцем медленнее обычного, разглядывая складки на костяшках, будто искала там что-то, забытое под кожей ещё в тот вечер двадцать лет назад. Потом сняла перчатки — не резким жестом, каким снимала их всегда, вывернув наизнанку одним движением, а осторожно, палец за пальцем, как разворачивают что-то хрупкое. В раздевалке было пусто и тихо, слышался только гул вытяжки за стеной да далёкое эхо каталки, которую катили в холодильную камеру. Она сняла халат, повесила его на крюк рядом с пальто, и в этот момент, наклонившись за сумкой, поймала запах собственных волос — тонкий, кисловатый, узнаваемый: формалин. Он всегда там был, скрытый под шампунем, под холодом улицы, но именно сегодня, когда она провела ладонью по затылку, запах поднялся отчётливо, будто нарочно напомнил о себе.

Она подумала о подушке. О том, что этот же запах будет там, когда она наконец ляжет, — вплетённый в наволочку, в саму ткань волос, никуда не девающийся ни от стирки, ни от духов, которыми она давно не пользовалась, потому что духи — это то, чем пользуются для кого-то другого. Запах формалина на подушке был единственным, что оставалось с ней от работы после ухода домой, единственным доказательством, что день был проведён не напрасно. Раньше эта мысль её не задевала. Сегодня она задержалась на ней дольше нужного, как задерживается язык на неровности зуба.

Она вспомнила — без всякой связи, просто по смежности запахов, — как в первые годы работы, ещё студенткой на практике, отмывала руки после первого самостоятельного вскрытия почти час, пока старший ассистент, мужчина с фамилией, которую она давно забыла, не отвёл её от раковины силой, сказав, что кожа не потерпит такого мытья дважды в неделю, что привычка либо появится, либо она уйдёт из профессии, а третьего пути тело не предложит. Привычка появилась.

Она надела пальто. Оно было холодным на плечах, как всегда, — крюк в раздевалке продувало сквозняком из вентиляции, и ткань за смену успевала остыть до температуры помещения, — и, застёгивая верхнюю пуговицу, Клара вдруг вспомнила, некстати и слишком ясно, как Анна однажды сказала, что от неё, Клары, вечно пахнет чем-то холодным даже летом, и как сама Клара, услышав это, восприняла замечание как комплимент — свидетельство того, что запах болезни, гниения, распада на неё не липнет, — тогда как Анна, кажется, имела в виду совершенно другое.

*

Дождь той осенью 1998 года шёл почти без остановки третью неделю, и когда Анна пришла в тот вечер, воды на ней было столько, что в прихожей осталась мокрая дорожка от двери до кухни — Клара заметила это машинально, тем взглядом, каким привыкла отмечать следы, оставленные телом в пространстве. Анна не позвонила заранее, что было не в её обычае: она всегда предупреждала, всегда оставляла Кларе время подготовиться — не к встрече, а к присутствию другого человека в квартире, где Клара привыкла быть одной даже тогда, когда была не одна.

В тот вечер Анна просто позвонила в дверь в половине восьмого, с работы, не заезжая домой, в том самом сером пальто из плотной шерсти, которое от воды стало казаться вдвое тяжелее, и Клара, открыв, сразу почувствовала запах — архивная пыль, старая бумага, слабый аммиачный дух консервантов, которыми в кантональном архиве пропитывали ветхие страницы. Этот запах Анна приносила с работы каждый день, но именно тогда, в дверях, он показался Кларе особенно плотным, будто ввёлся не только в пальто, но и в кожу.

— У меня было заседание комиссии по годовым отчётам архива, — сказала Анна, снимая мокрые перчатки палец за пальцем. — Я потом два часа сидела в машине на парковке. Просто сидела.

Клара не спросила, зачем. Она уже мыла тарелки — не потому, что готовила ужин на двоих в тот вечер, а потому что руки требовали занятия, привычного, механического, того же порядка, что и разбор инструментов после смены. Вода в раковине была слишком горячей, пар поднимался к её лицу, и она подумала — тогда, не сейчас, — что в этом паре удобно прятать глаза от вопросов, которые не хочешь читать.

Анна сидела за столом, не сняв пальто, — так и осталась сидеть, мокрая, тяжёлая, глядя, как Клара трёт тарелку, которая давно была чистой.

— Ты меня слушаешь? — спросила Анна тихо, без упрёка, скорее с усталостью человека, который задаёт этот вопрос не в первый раз и не ждёт от него результата.

— Слушаю, — сказала Клара, не оборачиваясь.

Анна молчала долго. Потом сказала, что комиссия сегодня забрала треть архивных коробок как непригодные к хранению — плесень, влага, десятилетия небрежности предыду-

щих архивариусов, — и что придётся списывать документы, которые физически ещё существуют, просто потому, что бюджет не предусматривает реставрации, и что она, Анна, весь день переписывала акты уничтожения, ставила подпись под тем, что чьи-то письма, чьи-то свидетельства о рождении, чьи-то нотариальные записи перестанут существовать не потому, что кто-то решил, что они не важны, а потому что никто вовремя не решил, что они важны.

— Это же просто бумага, — сказала Клара, вытирая руки о полотенце, тем тоном, каким успокаивают ребёнка, испугавшегося грозы.

— Это чужие жизни, Клара. Списанные без права переписки.

Голос дрогнул на последнем слове, и Клара, обернувшись наконец, увидела, что Анна плачет — не рыдает, не всхлипывает, а именно плачет тем тихим, почти неподвижным способом, каким плачут люди, давно привыкшие делать это без свидетелей. Слёзы шли по щекам, не сопровождаемые ни звуком, ни движением плеч, и от этого казались особенно настоящими, лишёнными всякой театральности, которая могла бы дать Кларе повод для раздражения, а значит, и для защиты.

Клара не подошла. Она стояла у раковины с полотенцем в руках.

— Хочешь чаю? — спросила она.

Анна посмотрела на неё долгим взглядом, в котором не было ни злости, ни разочарования — только констатация факта, столь же клиническая, сколь любая, какую сама Клара выносила бы над телом на столе.

— Нет, — сказала Анна. — Я хочу, чтобы ты подошла и просто постояла рядом. Без чая. Без диагноза.

Клара положила полотенце на край раковины, аккуратно, вчетверо сложенное, будто это имело значение, и подошла — но остановилась на расстоянии шага, том расстоянии, которое в её профессии называют безопасной дистанцией для осмотра без риска для эксперта, и положила руку Анне на плечо — на мокрое от дождя пальто, а не на кожу, — и постояла так недолго, чувствуя под ладонью холод чужой одежды, а не тепло чужого тела.

Анна не отстранилась. Она просто перестала плакать — так резко, что тишина после показалась Кларе почти оглушительной, — и сказала фразу:

— Ты боишься не потери, Клара. Ты боишься быть увиденной без халата.

Клара убрала руку. Не потому что фраза её оскорбила, а потому что фраза была верной, а верные диагнозы — единственное, от чего у неё немели пальцы.

*

Прежде чем уйти, Анна ещё постояла минуту в прихожей, застёгивая пуговицы мокрого пальто, как будто давала Кларе время сказать что-то, что остановило бы её руку на дверной ручке. Клара стояла в кухонном дверном проёме, держа в руках сухое теперь уже полотенце, и ничего не сказала. Анна кивнула, словно получив подтверждение того, чего ждала, и только тогда открыла дверь подъезда сама.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.